



СТЕНДАЛЬ

*Красное и белое,
или Люсьен Левен*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Стендаль

**Красное и белое,
или Люсьен Левен**

«Азбука-Аттикус»

1835

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Стендаль

Красное и белое, или Люсьен Левен / Стендаль — «Азбука-Аттикус», 1835 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-23223-5

Мари-Анри Бейль, известный всему миру под псевдонимом Стендаль, — один из самых популярных французских писателей и основоположник психологического романа. Книги «Красное и черное» и «Пармская обитель» обеспечили ему почетное место в пантеоне классиков европейской литературы. В число наиболее значительных произведений Стендаля необходимо включить также третий, не оконченный автором, однако не менее знаменитый роман «Красное и белое» (другой вариант названия — «Люсьен Левен», по имени главного персонажа). Многие объединяет Люсьена Левена с героем романа «Красное и черное» Жюльеном Сорелем. Он так же благороден, умен, готов к великим делам, пылок сердцем и страстно мечтает о счастье. Люсьен — сын могущественного и влиятельного банкира, и кажется, что его ждет счастливая, легкая жизнь. Однако трагическая влюбленность, политические интриги и козни завистников заставляют Люсьена сражаться за свое счастье, используя любые средства... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-23223-5

© Стендаль, 1835
© Азбука-Аттикус, 1835

Содержание

Часть первая	7
Предисловие	7
Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвертая	25
Глава пятая	33
Глава шестая	40
Глава седьмая	48
Глава восьмая	58
Глава девятая	67
Глава десятая	73
Глава одиннадцатая	80
Глава двенадцатая	87
Глава тринадцатая	91
Глава четырнадцатая	95
Глава пятнадцатая	101
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Стендаль

Красное и белое, или Люсьен Левен

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

* * *

Часть первая

Предисловие

Однажды человек, страдавший лихорадкой, принял хину. Он еще держал стакан в руке и корчил гримасу от горечи; взглянув в зеркало, он увидел в нем свое бледное, даже слегка позеленевшее лицо. Быстро отставив стакан, он кинулся к зеркалу, чтобы его разбить.

Такова, пожалуй, будет участь этих томов. На свою беду, они повествуют не о событии столетней давности: действующие в них лица – наши современники; они были еще живы, кажется, два-три года назад. Повинен ли автор, если некоторые из них – убежденные легитимисты, а другие рассуждают как республиканцы? Должен ли автор признать себя одновременно легитимистом и республиканцем?

Правду сказать, раз уж его вынуждают к столь серьезному признанию, он, на худой конец, заявляет, что был бы в отчаянии, если бы жил под властью нью-йоркского правительства. Он предпочитает угождать господину Гизо, чем своему сапожнику. В девятнадцатом столетии демократия неизбежно приводит к господству в литературе людей посредственных, рассудочных, ограниченных и в литературном отношении *пошлых*.

21 октября 1836 г.

Глава первая

Люсьена Левена выгнали из Политехнической школы¹ за то, что он некстати вышел прогуляться в день, когда, подобно всем своим товарищам, находился под домашним арестом: это было в один из прославленных июньских, апрельских или февральских дней 1832 или 1834 года.

Несколько молодых людей, достаточно безрассудных, но обладавших немалым мужеством, намеревались низложить короля, и воспитанники Политехнической школы, этого питомника смутьянов, бывшие в немилости у владыки Тюильри², были посажены под строгий арест в своем собственном помещении. На другой день после прогулки Люсьен был исключен как республиканец. Сильно огорченный на первых порах, он уже два года утешался тем, что ему не нужно больше работать по двенадцати часов в сутки. Он отлично проводил время у своего отца, человека, привыкшего жить в свое удовольствие, богатого банкира, салон которого был одним из самых приятных в Париже.

Господин Левен-отец, участник знаменитой фирмы «Ван-Петерс, Левен и К^о», боялся лишь двух вещей на свете: докучливых людей и сырого воздуха. Он никогда не бывал в дурном настроении, никогда не разговаривал серьезно с сыном и после исключения Люсьена из школы предложил ему работать в конторе один только день в неделю, по четвергам, когда прибывала главная корреспонденция из Голландии. За каждый отработанный четверг кассир выплачивал Люсьену двести франков и, кроме того, время от времени покрывал кое-какие его долги. По этому поводу господин Левен говорил:

– Сын – кредитор, данный нам природой.

Иногда он посмеивался над этим кредитором.

– Знаете ли, – спросил он однажды, – какую надпись сделали бы на вашей мраморной гробнице на кладбище Пер-Лашез, если бы мы имели несчастье потерять вас?

SISTE VIATOR!³

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЛЮСЬЕН ЛЕВЕН,

РЕСПУБЛИКАНЕЦ,

КОТОРЫЙ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

ВЕЛ НЕПРЕРЫВНУЮ БОРЬБУ

С СИГАРАМИ

И С НОВЫМИ САПОГАМИ.

В момент, с которого мы начинаем наше повествование, этот противник сигар уже не думал о республике, заставлявшей ждать себя слишком долго⁴. «В самом деле, – говорил он себе, – если французам нравится, чтобы ими управлял монарх под барабанный бой, к чему их тревожить? Большинству, по-видимому, пришлась по вкусу пресная смесь из лицемерия и жеманства, которую называют *представительным образом правления*»⁵.

Родители Люсьена вовсе не стремились регламентировать его жизнь до мелочей, и он проводил свое время в салоне матери. Еще молодая и довольно красивая, госпожа Левен поль-

¹ Политехническая школа – высшая школа для подготовки инженеров, основанная в 1794 году. – Здесь и далее, кроме отмеченных особо, примеч. ред.

² То есть у французского короля Луи-Филиппа I (правил 1830–1848).

³ Остановись, прохожий! (лат.)

⁴ По мнению нашего безрассудного героя, который со временем исправится. – Примеч. автора.

⁵ Это говорит республиканец. – Примеч. автора.

зовалась глубочайшим уважением окружающих. Ее считали необыкновенно умной. Тем не менее строгий судья мог бы упрекнуть ее в чрезмерной деликатности и в слишком непримиримом презрении, с которым она относилась к громким речам и к наглости наших молодых людей, пользующихся успехом в обществе. Эта женщина, обладавшая гордым и своеобразным характером, даже не удостаивала их внешним проявлением своего презрения и при малейших признаках вульгарности или жеманства погружалась в непреодолимое молчание. Госпожа Левен могла невзлюбить самые безобидные вещи только потому, что впервые встретила их у слишком шумливых людей.

Обеды господина Левена славились во всем Париже; нередко они бывали верхом совершенства. В иные дни он принимал у себя людей денежных или делавших карьеру, но эти господа не входили в круг лиц, собиравшихся у его супруги. Таким образом, общество это ничего не проигрывало от профессии господина Левена: деньги не признавались здесь единственной заслугой человека и даже, вещь невероятная, не считались самым крупным преимуществом. В этом салоне, обстановка которого стоила сто тысяч франков, ни к кому не относились с ненавистью (странное противоречие!), но любили посмеяться и при случае очень неплохо вышучивали всякое притворство, начиная с короля и архиепископа. Как видите, беседы, которые здесь велись, отнюдь не имели целью способствовать карьере или достижению *хорошего положения*. Однако, невзирая на это обстоятельство, отпугивавшее от салона немало людей, о которых в нем не сожалели, множество лиц стремились быть допущенными в кружок госпожи Левен. Он стал бы одним из модных салонов, если бы госпожа Левен захотела облегчить доступ в него, но для этого надо было удовлетворять сразу многим условиям. Единственной целью госпожи Левен было желание развлечь мужа, который был старше ее на двадцать лет и, как утверждала молва, состоял в очень близких отношениях с актрисами Оперы. Несмотря на это неудобство, госпожа Левен, как бы ни была приятна атмосфера ее салона, бывала счастлива лишь тогда, когда видела в нем своего мужа.

Окружающие считали, что Люсьен обладает изящной внешностью, непринужденностью и чрезвычайной изысканностью манер, но на этом кончались похвалы: он не слыл человеком большого ума. Любовь к труду, почти военное воспитание и прямота суждений, привитая ему Политехнической школой, сделали для него невозможным какое-либо притворство. В любой момент он действовал сообразно с желанием, владевшим им именно в эту минуту, и мало оглядывался на *других*.

Он сожалел о шпаге Политехнической школы, потому что госпожа Гранде, очень красивая женщина, пользовавшаяся успехом при новом дворе, сказала ему, что он умеет носить шпагу. Он был достаточно высокого роста и превосходно держался в седле. Красивые темно-русые волосы сообщали приятность его лицу, неправильные и слишком крупные черты которого дышали искренностью и живостью. Но, надо признаться, никакой резкости в манерах, ничего напоминающего выправку полковника на подмостках театра «Жимназ» и еще меньше – важного, рассчитанно-надменного тона молодого атташе при посольстве. Ничего решительно в его поведении не говорило: «У моего отца десять миллионов». Таким образом, герой наш не обладал модной внешностью, составляющей в Париже три четверти красоты. Наконец – вещь непростительная в наш накрахмаленный век – у Люсьена был беспечный, ветреный вид.

– Как легкомысленно пренебрегаешь ты своим положением! – заметил ему однажды его кузен Эрнест Девельруа, молодой ученый, уже блиставший в «Revue de ***» и получивший три голоса при выборах в Академию моральных наук.

Эрнест говорил это в кабриолете Люсьена, который, по его просьбе, отвозил его на вечер к господину N., либералу возвышенно-чувствительного образа мыслей в 1829 году, а теперь занимающему несколько должностей с общим окладом в сорок тысяч франков и называемому республиканцев *позором рода человеческого*.

– Будь ты немного серьезнее, не смейся ты по самому глупейшему поводу, ты мог бы прослыть в салоне твоего отца, и даже в других местах, одним из лучших воспитанников Политехнической школы, уволенным из нее за политические убеждения. Посмотри на своего школьного товарища, господина Коффа, исключенного подобно тебе: бедный, как Иов, он на первых порах из милости был допущен в салон твоей матери, а теперь разве не пользуется он уважением, да еще каким, среди этих миллионеров и пэров Франции! Его секрет очень прост, каждый может последовать его примеру: у него важное выражение лица и он никогда не проронит ни слова. Напускай же на себя хоть иногда немного мрачности. Все люди твоего возраста стремятся иметь какое-то значение; ты приобрел его в одни сутки, без малейшего старания, мой милый, и ты с легким сердцем отказываешься от него. Тебя можно принять за ребенка, и, что еще хуже, за ребенка самодовольного. Тебя начинают ловить на слове, предупреждая тебя, и, несмотря на отцовские миллионы, с тобой совсем не считаются; в тебе нет никакого постоянства, ты только милый школьник. В двадцать лет это почти смешно, а ты, чтобы придать совершенную законченность своему образу, проводишь целые часы перед зеркалом, и это всем известно.

– Чтобы тебе понравиться, – отвечал Люсьен, – я должен был бы разыгрывать роль, не правда ли, роль *меланхолически настроенного человека*? А что получу я от общества взамен за мою скуку? Ведь эта неприятность сопутствовала бы мне постоянно. Разве не пришлось бы мне, бровью не моргнув, выслушивать длинные проповеди маркиза Д. на экономические темы и сетования аббата Р. на бесконечные опасности, сопряженные с разделом имущества между братьями, предписываемым Гражданским кодексом? Во-первых, возможно, эти господа не знают, о чем говорят, а во-вторых – и это много вероятнее, – они здорово поиздевались бы над простофилями, которые поверили бы им.

– Ну что ж, опровергни их, начни спорить: галерка за тебя. Кто заставляет тебя соглашаться? Будь серьезен, напусти на себя *солидность*.

– Боюсь, как бы меньше чем за неделю эта напускная солидность не стала подлинной. Что мне до мнений света? Я не спрашиваю его ни о чем. Я не дал бы и трех луидоров за честь быть членом твоей академии; разве мы только что не видели, каким способом был избран господин Б.?

– Но свет рано или поздно потребует у тебя отчета в положении, которое он отводит тебе на слово, благодаря миллионам твоего отца. Если твоя независимость вызовет у света чувство досады, он отлично сумеет найти повод поразить тебя в самое сердце. В один прекрасный день ему придет фантазия отшвырнуть тебя в последний ряд. Ты привыкнешь к благожелательному приему; предвижу твое отчаяние, но будет слишком поздно. Тогда ты почувствуешь необходимость быть чем-нибудь, принадлежать к какой-нибудь корпорации, способной при случае поддержать тебя, и ты сделаешься рьяным любителем конских бегов. Я же считаю менее глупым быть академиком.

Проповедь кончилась, так как Эрнест вышел из кабриолета у дверей ренегата, занимавшего двадцать должностей.

«Чудак мой кузен! – решил Люсьен. – Точь-в-точь как госпожа Гранде, которая находит, что для меня крайне важно ходить в церковь: „*Это в особенности необходимо для того, кто предназначен к блестящей карьере, но не обладает громким именем*“. Черт возьми, дурак бы был я, если бы занимался этими скучными вещами! Кому до меня дело в Париже?»

Шесть недель спустя после нравоучения Эрнеста Девельрюа Люсьен прохаживался у себя по комнате; он внимательнейшим образом рассматривал клетки дорогого турецкого ковра, который госпожа Левен распорядилась перенести из своей комнаты в комнату сына в день, когда он простудился. В связи с этой же простудой Люсьен был облачен в великолепный причудливый халат, синий с золотом, и в очень теплые рейтузы из кашемира малинового цвета.

У Люсьена был счастливый вид, на его лице играла улыбка. Всякий раз, проходя мимо кушетки, он немного скашивал глаза в ее сторону, не останавливаясь, однако; на ней лежал зеленый мундир с малиновой выпушкой, и к мундиру были прикреплены эполеты корнета.

В этом-то и заключалось счастье.

Глава вторая

У господина Левена, знаменитого банкира, было много друзей, так как он давал изысканнейшие, почти безупречные обеды и вместе с тем не был человеком ни требовательным в нравственном отношении, ни скучным, ни честолюбивым, а только взбалмошным и оригинальным. Однако – и это была серьезная ошибка – друзья были выбраны не из числа лиц, способных повысить то значение и уважение, которым он пользовался в свете. Это были прежде всего умные люди, не привыкшие отказывать себе в удовольствиях, люди, которые по утрам, быть может, занимаются серьезно своими делами, но по вечерам смеются над всем на свете, посещают Оперу и, что весьма существенно, не придираются к власти в вопросе об ее происхождении, ибо в связи с этим пришлось бы сердиться, порицать, впадать в уныние. Эти друзья сказали всеильному министру, что Люсьен отнюдь не какой-нибудь Хемпден⁶, фанатик американской свободы, отказывающийся платить налоги, если бюджет не утвержден, а всего-навсего двадцатилетний молодой человек, образ мыслей которого не отличается от образа мыслей окружающих. В результате тридцать шесть часов спустя Люсьен уже был корнетом 27-го уланского полка, носящего на мундире малиновые выпушки и, кроме того, прославленного блестящими воинскими подвигами.

«Должен ли я сожалеть о Девятом полку, где тоже была вакансия? – задавал себе вопрос Люсьен, закуривая сигарету, скрученную им из лакричной бумаги, которую ему прислали из Барселоны. – У Девятого ярко-желтые выпушки... это живее, но менее благородно, менее строго, менее по-воински... Ба! По-воински! Эти полки, находящиеся на содержании у палаты депутатов, никогда не пустят в настоящее дело! Самое существенное для мундира – это быть нарядным на балу, а ярко-желтый цвет живее...»

Какая разница! В былое время, когда, поступив в Школу, я впервые надел мундир, меня мало интересовал его цвет; я думал о прекрасных батареях, быстро строящихся в боевом порядке под ураганным огнем прусской артиллерии... Как знать? Быть может, мой Двадцать седьмой уланский бросится в один прекрасный день в атаку на этих изящных гусаров смерти, о которых Наполеон лестно отзывался в Иенском бюллетене... Но чтобы драться с подлинным удовольствием, нужно, чтобы родина была действительно заинтересована в исходе сражения; ибо если речь идет лишь о том, чтобы понравиться этим господам, являющимся *привалом в грязи* и поощряющим наглость иноземцев⁷, тогда, право, незачем стараться».

И все удовольствие пренебрегать опасностью, сражаться героически потускнело в его глазах. Из любви к мундиру он делал попытку помечтать о преимуществах военной службы.

«Получать чины, ордена, деньги... А почему бы, – сразу подумал он, – не пограбить немца или испанца, как N. или как N.?»

Оттопырив губу с видом глубокого презрения, он уронил сигарету на прекрасный ковер, подарок матери; он поспешно поднял ее; это был уже другой человек: отвращения к войне не было и в помине.

«Ба, – сказал он себе, – никогда ни Россия, ни другие деспотии не простят нам Трех дней⁸. Значит, сражаться будет прекрасно...»

⁶ Джон Хемпден (ок. 1595–1643) – английский политик, оспаривал права короля Англии Карла I на абсолютную власть, что стало прелюдией к Английской революции.

⁷ Молодой человек изъясняется еще на языке партии, к которой он раньше принадлежал; это говорит республиканец. – Примеч. автора.

⁸ Имеется в виду Июльская революция 1830 года, приведшая к свержению короля Карла X и возведению на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского.

Убедившись в том, что ему не страшно унижительное общение с любителями выдач из казны, он снова перевел взор на кушетку, на которой военный портной разложил мундир корнета. Он представлял себе войну по артиллерийским упражнениям в Венсенском лесу...

«Быть может, получу рану!» И он уже видел, как его переносят в хижину, где-нибудь в Швабии или в Италии; прелестная юная девушка, чьей речи он не понимает, ухаживает за ним, сначала из человеколюбия, потом... Когда же двадцатилетнее воображение исчерпало все счастливые картины любви к простодушной и свежей крестьянке, перед ним возник образ молодой женщины, близкой ко двору и сосланной на берег Сезии угрюмым мужем. Сперва она присылает своего лакея с корпией для раненого юноши, а несколько дней спустя появляется сама под руку с сельским священником.

«Но нет, – продолжал Люсьен, нахмутив брови и внезапно вспомнив о шутках, которыми его со вчерашнего дня донимал господин Левен, – я буду воевать только с сигарами; я стану одним из почетных завсегдатаев военного кафе в унылом гарнизоне плохо мощенного городишки; в качестве вечерних развлечений у меня будет несколько партий на бильярде и несколько бутылок пива да иногда по утрам пустая перепалка с грязными, умирающими с голоду рабочими... В лучшем случае я буду убит, как Пирр⁹, ночным горшком (неприятный сюрприз!), брошенным из окна шестого этажа беззубой старухой. Какая слава! Моя душа окажется в довольно нелепом положении, когда на том свете я буду представлен Наполеону.

„Без сомнения, – скажет он, – вы умирали с голоду, раз взялись за это ремесло?“ – „Нет, генерал, я думал, что подражаю вам“. – И Люсьен громко расхохотался. – Наши правители чувствуют себя слишком непрочны, чтобы у них хватило смелости затеять настоящую войну; в одно прекрасное утро из рядов может выступить какой-нибудь капрал вроде Гоша, который обратится к солдатам с призывом: „Друзья мои, идем на Париж и выберем первого консула, который не позволит глумиться над собой Николаю“.

Но я хочу, чтобы капрал преуспел, – философски продолжал он, закуривая вновь сигарету. – Когда нация охвачена гневом и любовью к славе, прощай свобода. Газетчик, усомнившийся в правдивости бюллетеня, сообщающего о последнем сражении, будет рассматриваться как предатель, как союзник неприятеля и будет умерщвлен, как это делается республиканцами в Америке. Еще раз мы будем избавлены от свободы любовью к славе... Порочный круг... И так до бесконечности...»

Очевидно, наш корнет не был совершенно свободен от недуга *резонерства*, связывающего по рукам и ногам современную молодежь и сообщающего ей старушечий характер.

«Как бы там ни было, – вдруг решил он, примеряя мундир и глядясь в зеркало, – все они утверждают, что надо сделаться чем-нибудь. Ну что ж, я стану уланом; изучив военное дело, я выполню, по их мнению, свое назначение, а там будь что будет!»

Вечером, когда, впервые в жизни надев эполеты, он проходил мимо Тюильри, часовые взяли ему на караул; он был вне себя от радости. Эрнест Девельруа, *настоящий интриган*, знакомый решительно со всеми, вел его к подполковнику 27-го уланского полка, господину Филото, находившемуся проездом в Париже.

На улице Булуа, в одном из номеров четвертого этажа гостиницы, Люсьен, сердце которого учащенно билось и который искал встречи с героем, увидел плотного мужчину с хитрыми глазами и крупными белокурыми бакенбардами, тщательно расчесанными во всю длину лица. «Боже великий! – подумал он. – Да ведь это прокурор из Нижней Нормандии!» Широко раскрыв глаза, он стоял неподвижно перед господином Филото, тщетно приглашавшим его «потрудиться присесть». При каждом слове этот бравый солдат, участник Аустерлица и Маренго, умудрялся вставлять: «Моя верность королю» или: «Необходимость обуздания

⁹ Пирр (319–272 до н. э.) – царь Эпира и Македонии, один из сильнейших противников Рима.

мятежников». По истечении десяти минут, показавшихся ему вечностью, Люсьен поспешил уйти; он шел таким быстрым шагом, что Девельруа с трудом следовал за ним.

– Боже великий! И это – герой? – воскликнул он, внезапно остановившись. – Ведь это жандарм! Это наемный убийца, получающий деньги от тирана за убийство своих сограждан и гордый своим ремеслом.

Будущий академик смотрел на вещи иначе и не столь высокомерно.

– Что означает эта гримаса отвращения, как будто тебе подали заплесневелый паплет? Хочешь ты или не хочешь быть чем-нибудь в свете?

– Господи! Какая каналья!

– Этот подполковник в сто раз лучше тебя; это крестьянин, который, работая саблей на того, кто ему платит, дослужился до штаб-офицерских эполет.

– Но он так груб, так отвратителен...

– Это лишь увеличивает его заслугу; вызывая отвращение у своих начальников, если они были достойнее его, он вынуждал их добиваться для него чина, в котором он сегодня состоит. А ты, господин республиканец, сумел ли ты за всю свою жизнь заработать хоть один сантим? Ты взял на себя труд появиться на свет как княжеский сынок. Твой отец содержит тебя; что стало бы с тобой без него? Неужели тебе не стыдно, что в твои годы ты не в состоянии заработать себе на сигары?

– Но такое гнусное существо...

– Гнусное он существо или нет, он в тысячу раз выше тебя; он действовал, а ты ничего не делал. Человек, который, служа страстям сильного, зарабатывает четыре су, составляющие стоимость сигары, или который, будучи сильнее слабых, сидящих на своих мешках с деньгами, забирает у них эти четыре су, – гнусное он существо или нет (об этом мы поговорим позднее) – прежде всего человек сильный, он *мужчина*. Его можно презирать, но как бы то ни было, с ним надо считаться. Ты же – мальчик, с которым ни в каком отношении не стоит считаться, мальчик, вычитавший в книжке несколько звонких фраз и повторяющий их, как хороший, увлеченный своей ролью актер; но там, где нужно действовать, ты нуль. Прежде чем презирать грубого овернца, который, невзирая на свою отталкивающую физиономию, уже не торгует где-нибудь на углу, а принимает у себя явившегося к нему засвидетельствовать свое почтение господина Люсьена Левена, изящного молодого парижанина и сына миллионера, подумай немного о разнице между ним и собой. Господин Филото, быть может, содержит своего отца, старика-крестьянина, тебя же содержит твой отец.

– Ах, ты не сегодня завтра станешь членом Института! – с отчаянием в голосе воскликнул Люсьен. – Что касается меня, я только глупец. Вижу, ты сто раз прав, я это чувствую, но я поистине достоин сострадания. Мне внушает омерзение дверь, в которую надо войти; на ее пороге слишком много навоза. Прощай!

И Люсьен поспешно удалился. Он с удовольствием заметил, что Эрнест не последовал за ним; бегом поднявшись к себе, он с яростью швырнул свой мундир на пол. «Одному богу известно, к чему он вынудит меня».

Несколько минут спустя он сошел вниз к отцу и со слезами на глазах обнял его.

– А, вижу, в чем дело, – сказал, крайне удивившись, господин Левен. – Ты проиграл сто луидоров: я дам тебе двести. Но мне не нравится этот способ выпрашивать деньги; я не хотел бы видеть слезы на глазах корнета. Разве brave офицер не должен прежде всего думать о впечатлении, которое производит на окружающих его лицо?

– Наш кузен Девельруа, этот ловкач, прочел мне нравоучение; он сейчас доказал мне, что у меня в жизни нет никаких заслуг, кроме того, что отец мой умный человек. Я ни разу еще не заработал своим трудом стоимости сигары, без вас я был бы нищим.

– Значит, ты не хочешь получить двести луидоров? – спросил господин Левен.

– Я и так осыпан вашими щедротами сверх всякой меры. Что стало бы со мной без вас?

– В таком случае, черт тебя побери, – резко выкрикнул господин Левен, – уж не собираешься ли ты сделаться сенсимонистом? Как ты будешь скучен!

Волнение Люсьена, которое он не мог скрыть, в конце концов привело его отца в веселое настроение.

– Я требую, – сказал он, прерывая его внезапно, так как пробило девять часов, – чтобы ты тотчас же отправился в мою ложу в Опере. Там ты найдешь девиц, которые в триста, в четыреста раз лучше тебя; ибо, во-первых, они не дали себе никакого труда родиться и, во-вторых, в те дни, когда они танцуют, они зарабатывают от пятнадцати до двадцати франков. Я требую, чтобы ты от моего имени угостил их ужином как мой представитель, понимаешь? Ты отвезешь их в «Роше де Канкаль» и там израсходуешь не меньше двухсот франков; в противном случае я отрекаюсь от тебя, объявляю тебя сенсимонистом и запрещаю тебе видеть меня в течение полугода. Какая попытка для столь любящего сына!

Люсьен испытывал всего-навсего прилив нежности к отцу.

– Разве среди ваших друзей я слышу скучным человеком? – ответил он достаточно умно. – Клянусь вам, что истрачу надлежащим образом ваши двести франков.

– Слава богу! И запомни, что ничего нет невежливее, чем явиться внезапно, как ты сейчас, с серьезными разговорами к бедному шестидесятилетнему человеку, которому нечего делать с сильными чувствами и который не дал тебе никакого повода приходить к нему, обрушиваясь на него с такой безудержной любовью. Черт бы тебя побрал! Ты всю свою жизнь будешь лишь пошлым республиканцем. Удивляюсь, как это ты еще не отпустил себе жирных волос и грязной бороды.

Задетый за живое, Люсьен был весьма учтив с дамами, которых застал в отцовской ложе. За ужином он много говорил и с изысканной любезностью подливал им в бокалы шампанского. Развезя их по домам и возвращаясь к себе в час ночи один в своей карете, он удивлялся приливу чувствительности, которому поддался в начале вечера. «Мне надо относиться с недоверием к первым движениям моего сердца, – думал он. – В самом деле, я совсем не уверен в себе; моя нежность только неприятно поразила отца... Я не сумел его разгадать, мне надо действовать, и по-настоящему. Значит, поступай в полк».

На другой день в семь часов утра он явился в своем мундире в угрюмый номер подполковника Филото. Там в течение двух часов он имел мужество быть с ним крайне любезным; он серьезно старался усвоить себе военные манеры, воображая, что у всех его товарищей тон и повадки Филото. Невероятное заблуждение, которое имело, однако, свою хорошую сторону! То, что он видел, возмущало его, внушало ему смертельное отвращение. «И все же я это вытерплю, – мужественно сказал он себе, – я не буду подшучивать над этими манерами, а стану подражать им».

Подполковник Филото говорил о себе, и говорил много; он долго рассказывал, как и за что получил он свои первые офицерские погоны в Египте, в первом сражении под стенами Александрии; рассказ был великолепен, дышал правдой и глубоко взволновал Люсьена. Но старый солдат, характер которого был надломлен пятнадцатую годами Реставрации, нисколько не возмущился при виде «парижского франта», сразу при вступлении в полк получившего чин корнета, – по мере того как Филото покидал героизм, в его голове зарождались всякие спекулятивные комбинации: он тут же начал соображать, какую пользу можно будет извлечь из молодого человека; он спросил Люсьена, депутат ли его отец.

Господин Филото отклонил приглашение на обед к госпоже Левен, переданное ему Люсьеном, но на третий день без церемоний принял в подарок пенковую трубку с великолепным массивным, чеканного серебра чубуком. Филото принял ее из рук Люсьена, как получают обратно долг, и даже не подумал поблагодарить.

«Это означает, – решил он, закрывая дверь за Люсьеном, – что *франт*, поступив в полк, будет часто проситься в отпуск, чтобы сорить деньгами в соседнем городке... И, – прибавил

он, взвешивая в руке отделанную серебром трубку, – вы получите эти отпуски, господин Левен, но получите их только через мое посредство; я никому не уступлю такого клиента: ведь он, может быть, тратит по пятьсот франков в месяц; его отец, вероятно, бывший военный комиссар или поставщик, эти деньги когда-то были украдены у бедного солдата... Конфисковать!» – заключил он, улыбаясь. И, спрятав чубук среди своего белья, Филото запер на ключ ящик комода.

Глава третья

Став гусаром в 1794 году, восемнадцати лет от роду, Тонер Филото принимал участие во всех кампаниях революции. Первые шесть лет он сражался с энтузиазмом, распевая «Марсельезу». Но вот Бонапарт сделался консулом, и вскоре хитрый ум будущего подполковника заметил, что не следует так часто распевать «Марсельезу»; он оказался поэтому первым в полку лейтенантом, получившим крест. При Бурбонах он впервые пошел к причастию и стал офицером ордена Почетного легиона.

Теперь он приехал на три дня в Париж – напомнить о себе нескольким низшим по чину друзьям, между тем как 27-й уланский полк совершал переход из Нанта в Лотарингию. Будь Люсьен немного сообразительнее, он упомянул бы о влиянии, которым пользуется его отец в военном министерстве. Но он не замечал таких вещей; подобно пугливой лошади, он видел несуществующие опасности, но зато имел смелость кидаться им навстречу.

Узнав, что на следующий день господин Филото уезжает дилижансом, чтобы нагнать свой полк, Люсьен попросил у него разрешения поехать вместе с ним. Госпожа Левен была немного удивлена, увидев, как из коляски сына, которую она велела подать под свои окна, выгружают чемоданы и отправляют их к дилижансу.

Во время первой же остановки на обед подполковник сухо отчитал Люсьена, взявшего в руки газету.

– В Двадцать седьмом приказом по полку запрещено господам офицерам читать газеты в общественных местах. Исключение сделано лишь для органа военного министерства.

– К черту газету! – весело воскликнул Люсьен. – Сыграем в домино на вечерний пунш, если только лошадей не впрягли в дилижанс.

Как ни был молод Люсьен, у него, однако, хватило сообразительности проиграть шесть партий подряд, вследствие чего, садясь в экипаж, славный Филото был совершенно покорен. Он находил, что у этого *франта* недурной характер, и принялся объяснять ему, как следует вести себя в полку, чтобы не производить впечатления желторотого птенца. Этот образ действий представлял собой почти полную противоположность изысканной вежливости, к которой привык Люсьен, ибо в глазах господ Филото, как в монашеской среде, изысканная вежливость считается признаком слабости: необходимо в первую очередь говорить о себе и о своих преимуществах, необходимо преувеличивать их. Сначала наш герой с грустью и с величайшим вниманием слушал его, затем Филото уснул глубоким сном, и Люсьен мог дать волю своим мечтам. В конечном итоге он был счастлив открывавшейся перед ним возможностью действовать и увидеть нечто новое.

На третий день к шести часам утра, не доезжая трех лье до Нанси, они нагнали двигавшийся походным порядком полк; остановив дилижанс и велев выгрузить вещи, они сошли на дорогу.

Люсьен, смотревший на все широко открытыми глазами, был поражен выражением угрюмой и топорной важности, которое приняло полное лицо подполковника в момент, когда его денщик, раскрыв саквояж, подал ему украшенный густыми эполетами мундир. Господин Филото распорядился дать лошадь Люсьену, и они присоединились к полку, за время их переодевания ушедшему вперед. Семь-восемь офицеров, придерживая коней, образовали почетный арьергард подполковника; им в первую очередь и был представлен Люсьен; он нашел их слишком сдержанными. Трудно было найти менее обнадеживающие физиономии.

«Так вот они, люди, с которыми мне придется жить!» – подумал Люсьен, и сердце у него сжалось, как у ребенка. Привыкший к лицам, сияющим светской любезностью, с которыми он обменивался несколькими словами в парижских салонах, он был теперь готов поверить, что

эти господа задались целью нагнать на него страху. Он говорил слишком много, но каждая его фраза вызывала у них возражение или неприязненную настороженность; он замолчал.

С час уже ехал Люсьен, не говоря ни слова, слева от ротмистра, командовавшего эскадронном, к которому он должен был быть причислен; он придал – по крайней мере, так ему казалось – холодное выражение своему лицу, но сердце его было сильно взволновано. Едва прекратил он неприятный диалог с офицерами, как уже позабыл об их существовании. Он глядел на улана, и его охватили радость и удивление. «Вот он, соратник Наполеона! Вот он, французский солдат!» С необычайным, страстным интересом он присматривался к мельчайшим подробностям. Затем, немного поостыв от восторгов первой минуты, призадумался над своим положением.

«Вот я имею наконец профессию, которую все считают наиболее благородной и наиболее интересной. Политехническая школа посадила бы меня на коня в качестве артиллериста, я же нахожусь теперь в рядах улан; единственная разница, – добавил он, улыбнувшись, – состоит в том, что вместо отличного знания дела я совершенно с ним не знаком». Ехавший рядом с ним капитан, заметив улыбку, скорее нежную, чем насмешливую, был ею задет. «...Неважно! – продолжал размышлять Люсьен. – Так ведь начали свою карьеру Дезе и Сен-Сир¹⁰, герои, не запятнавшие себя герцогским титулом»¹¹.

Беседа, которую вели между собой уланы, отвлекла Люсьена от его мыслей. Это был самый обыкновенный разговор, касавшийся простейших нужд очень бедных людей: качества солдатского хлеба, стоимости вина и т. п. Но искренность тона, твердость характера и правдивость собеседников, сквозившие в каждом слове, сообщали новые силы душе Люсьена, точно воздух горной местности. Было в них что-то простое и чистое, резко отличавшееся от тепличной атмосферы, в которой он жил до сих пор. Почувствовать эту разницу и изменить свой взгляд на жизнь было делом одной минуты. Вместо вежливости, весьма приятной, но, по существу, очень осмотрительной и мелочно щепетильной, тон всех этих речей весело говорил: «Я плюю на все на свете и полагаюсь на самого себя».

«Вот самые прямодушные и самые искренние люди, – подумал Люсьен, – и, быть может, самые счастливые. Почему бы одному из их командиров не уподобиться им? Я искренен, как они, у меня нет задних мыслей, я буду стараться всеми мерами содействовать их благополучию; в сущности, я смеюсь над всем, кроме собственной чести. С этими же важными особами, именующими себя моими товарищами, но отталкивающими резкостью своего тона и самодовольством, у меня нет ничего общего, кроме эполет». Скосив глаза, он взглянул на ротмистра, ехавшего справа от него, и на лейтенанта, ехавшего справа от ротмистра. «Эти господа являются полным контрастом уланам; вся жизнь их – сплошная комедия; они страшатся всего, за исключением, пожалуй, смерти. Это люди вроде моего кузена Девельруа».

Люсьен снова стал прислушиваться к беседе улан и наслаждался; вскоре он перенесся в чистую область воображения; его свобода, его великодушие доставляли ему живейшее удовлетворение; он видел перед собой лишь великие задачи и привлекательные опасности. Исчезла необходимость интриговать и устраивать свою жизнь по примеру Девельруа. Незамысловатые речи солдат производили на него впечатление прекрасной музыки. Жизнь представлялась ему в розовом свете.

Вдруг вдоль свободного пространства посередине дороги, по обеим сторонам которой, небрежно сидя в седле, медленно ехали уланы, проскакал галопом подпрапорщик. Он что-то сказал вполголоса унтер-офицерам, и Люсьен увидел, как сразу приосанились на своих конях уланы. «Теперь у них совсем бравый вид», – подумал он. На его юном, наивном лице не могло не отразиться сильное волнение, охватившее его при этом: на нем было написано удовлетво-

¹⁰ Луи Шарль Антуан Дезе (1768–1800) – французский генерал, участник Египетского похода Наполеона. Сен-Сир – имеется в виду французский генерал, военный министр Франции Лоран де Гувийон, маркиз де Сен-Сир (1764–1830).

¹¹ Это говорит республиканец. – *Примеч. автора.*

рение, благожелательство и, пожалуй, некоторое любопытство. Это было ошибкой; ему следовало оставаться бесстрастным или, еще лучше, придать своим чертам выражение, *обратное тому, которого все ожидали*. Ротмистр, по левую руку которого он ехал, тотчас сказал себе: «Этот изящный молодой человек сейчас задаст мне вопрос, и я *ловким ответом* поставлю его на место». Но Люсьен ни за что на свете не задал бы вопроса кому-либо из своих товарищей, проявивших так мало товарищеских чувств; он сам постарался угадать слово, которое внезапно заставило встрепнуться всех улан и небрежную посадку, вызванную продолжительным переходом, заменило бравой воинской выправкой.

Ротмистр все ждал вопроса; в конце концов он не вынес затянувшегося молчания.

– Это главный инспектор, которого мы ждали, генерал, граф N., пэр Франции, – произнес он сухо и надменно, с таким видом, точно не обращался непосредственно к Люсьену.

Люсьен равнодушно взглянул на ротмистра, как будто выведенный из задумчивости звуком его голоса: губы ротмистра сложились в ужасную гримасу, его лоб многозначительно наморщился, он старался не глядеть на корнета.

«Вот чудело! – подумал Люсьен. – По-видимому, это и есть тот военный тон, о котором мне столько говорил подполковник Филото. Конечно, ради того, чтобы понравиться этим господам, я не перейму этих резких и грубых манер; я останусь среди них чужаком. Быть может, придется разок скрестить с кем-нибудь свою шпагу, но, разумеется, я не откликнусь на сообщение, сделанное подобным тоном».

Ротмистр, по-видимому, ожидал от Люсьена возгласа восхищения: «Неужели это знаменитый граф N., неужели это тот генерал, чье имя с таким почетом упоминается в бюллетенях Великой армии?...» Но наш герой держался настороже; его лицо хранило выражение человека, вынужденного вдыхать дурной запах. После минуты тягостного молчания ротмистру волея-неволей пришлось прибавить, нахмутив еще больше брови:

– Это граф N., прославившийся знаменитой атакой под Аустерлицем. Полковник Малер де Сен-Мегрен, человек ловкий, всучил эю почтальонам последней станции: один из них прискакал галопом. Уланы не должны смыкать ряды: это было бы признаком того, что они предупреждены. Но посмотрите, какое хорошее впечатление произведет наш полк на инспектора: первое впечатление – крайне важная вещь... Вот люди, точно родившиеся на коне.

Люсьен ответил лишь кивком головы; он стыдился клячи, которую ему дали; он прищипил ее; она метнулась в сторону и едва не упала. «Какой жалкий у меня вид!» – подумал он.

Десять минут спустя послышался стук колес сильно нагруженной кареты; это был граф N., ехавший посередине дороги, между двумя рядами улан; вскоре карета поравнялась с Люсьеном и ротмистром. Им не удалось разглядеть генерала – до такой степени огромная берлина была набита всякого рода пакетами.

– Ящики, ящики, ящики с провизией без конца, – недовольно заметил ротмистр. – Он разъезжает не иначе как с грудями окороков, жареных индеек, паштетов, с бесчисленными бутылками шампанского!

Наш герой был вынужден ответить. Пока ему приходится заниматься неприятной обязанностью учтиво отплатить ротмистру Анри презрением за презрение, мы, с согласия читателей, последуем на минуту за генерал-лейтенантом, графом N., пэром Франции, на которого в этом году было возложено инспектирование 26-й дивизии.

В момент, когда его карета проезжала по подъемному мосту Нанси к месту стоянки 26-й дивизии, семь пушечных выстрелов оповестили население об этом крупном событии.

Эти семь выстрелов снова окрылили душу Люсьена.

У дверей инспектора поставили двух часовых, и генерал-лейтенант барон Теранс, начальник дивизии, попросил справиться у него, примет ли он его сейчас же или на другой день.

– Сейчас же, черт возьми! – ответил старый генерал. – Неужели он думает, что я с... на службу?

Граф N. до сих пор сохранял в некоторых мелочах привычки, приобретенные им в армии Самбры-и-Мааса, где в былое время началась его известность. Эти привычки ожили в нем теперь с особенной силой потому, что уже не раз за последние шесть-семь перегонов он узнавал позиции, которые некогда занимала эта армия, увенчанная ничем не омраченной славой.

Хотя это был человек, лишенный воображения и отнюдь не склонный к иллюзиям, он замечал, до чего живы в нем воспоминания 1794 года. «Какая разница между 1794 и 183* годом!.. Господи! Как мы тогда клялись в ненависти к королевской власти! И с каким жаром! Эти молодые унтер-офицеры, наблюдать за которыми мне так советовал N., в ту пору были мы сами... В то время сражения происходили ежедневно; военное дело было приятным, люди любили сражаться. Нынче же надо прислуживаться к какому-нибудь маршалу...»

Генерал граф N. был довольно красивый мужчина лет семидесяти пяти, стройный, худощавый, ничуть не сгорбленный, с отличной выправкой. У него была еще прекрасная фигура, а несколько тщательно расчесанных прядей не совсем поседевших русых волос скрашивали почти совершенно лысый череп. Черты лица свидетельствовали о непреклонном мужестве и огромной воле к повиновению, но были лишены печати мысли. Эта голова уже меньше нравилась со второго раза, а с третьего казалась почти совсем заурядной; на этой физиономии лежало как бы облако фальши: видно было, что Империя с ее низкопоклонством оставила на ней свои следы.

Счастливы герои, умершие до 1804 года!

Эти фигуры ветеранов армии Самбры-и-Мааса приобрели гибкость в тюильрийских приемных и на церемониях в соборе Нотр-Дам. Граф N. был свидетелем изгнания генерала Дельмаса¹², которое явилось следствием знаменитого диалога:

– Прекрасная церемония, Дельмас! Поистине великолепно! – сказал император, возвращаясь из Нотр-Дам.

– Да, генерал, не хватает лишь двух миллионов человек, пожертвовавших жизнью, чтобы уничтожить то, что вы восстанавливаете.

На другой день Дельмас был выслан с запрещением приближаться к Парижу на расстояние сорока лье.

В ту минуту, когда лакей доложил о приходе барона Теранса, генерал N., облачившийся в парадный мундир, прогуливался по гостиной; ему еще слышалась пушечная пальба, снявшая блокаду с Валансьена. Он быстро отогнал от себя воспоминания, способные привести к неосторожным поступкам, и мы, *чтобы услужить читателю*, как выкрикивают газетчики, продающие речь короля на открытии парламента, передадим некоторые места из диалога двух старых генералов. Они были почти не знакомы друг с другом.

Барон Теранс вошел, неловко кланяясь. Он был без малого шести футов росту и имел осанку крестьянина из Франш-Конте. Кроме того, в сражении при Ганау¹³, где Наполеону пришлось прорвать ряды своих верных союзников-баварцев, чтобы вернуться во Францию, полковник Теранс, прикрывавший со своим батальоном знаменитую батарею генерала Друо, получил удар саблей, рассекший ему обе щеки и отхвативший кончик носа. Раны кое-как были залечены, но оставили очень заметные следы, и огромный рубец на лице, изборожденном морщинами вечного недовольства, придавал генералу весьма воинственную внешность. На войне он отличался изумительной отвагой, но с воцарением Наполеона его уверенности в себе пришел конец. В Нанси он боялся всего, особенно же газет; потому-то он часто угрожал расстрелять адвокатов. Его неотступным кошмаром был страх подвергнуться *публичному осмеянию*. Плоская шутка в газете, насчитывавшей сто читателей, положительно выводила из себя этого столь бравого военного. Было у него и другое огорчение: никто в Нанси не обращал внимания

¹² Антуан Гийом Дельмас (1768–1813) – французский генерал.

¹³ В октябре 1813 года французские войска при Ганау одержали победу над союзными австро-баварскими войсками.

на его эполеты. Когда-то, во время майского восстания 183* года, он круто обошелся с городской молодежью и был уверен, что его ненавидят.

Этот некогда столь счастливый человек представил своего адъютанта, который тотчас же удалился. Он разложил на столе план расположения воинских частей и госпиталей дивизии. С добрый час ушло на обсуждение всяких военных тонкостей. Генерал осведомился у барона о моральном состоянии солдат; отсюда оставался только шаг до вопроса об общественном настроении. Нужно, однако, сознаться, что ответы достойного начальника 26-й дивизии могли бы показаться слишком длинными, если бы мы воспроизвели все красоты их военного стиля; мы ограничимся здесь лишь выводами, которые сделал граф и пэр Франции из ворчливых речей провинциального генерала.

«Этот человек – воплощение чести, – подумал граф. – Он не боится смерти; он даже скорбит от всего сердца об отсутствии опасности; но он все же деморализован, и если бы ему предстояло подавить восстание, он сошел бы с ума от страха перед завтрашними газетами».

– Мне ежедневно причиняют всякого рода неприятности, – повторял барон.

– Не говорите об этом слишком громко, дорогой генерал. Двадцать генералов старше вас помогают вашего поста, а маршал желает, чтобы все были довольны. Откровенно, по-товарищески, передам вам одно его словечко, быть может немного резкое. Неделию назад, когда я был перед отъездом у министра, он мне сказал: *«Только глупец не сумеет свить себе гнездышко в провинции»*.

– Хотел бы я видеть господина маршала, – нетерпеливо возразил барон, – между богатым, хорошо сплоченным дворянством, открыто нас презирающим, непрерывно издевающимся над нами, и буржуазией, идущей на поводу у иезуитов, у этих тончайших пройдох, под влиянием которых здесь находятся все мало-мальски богатые женщины. С другой стороны, вся городская молодежь, если они не дворяне и не ханжи, – ярые республиканцы. Если мои глаза случайно задерживаются на одном из них, он показывает мне грушу или каким-нибудь иным способом выказывает свое бунтарское настроение. Даже школьники издеваются надо мной. Если молодые люди встречают меня в двухстах шагах от моих часовых, они поднимают оглушительный свист, а затем в анонимном письме предлагают дать мне удовлетворение, осыпая площадной бранью в случае, если я не приму вызова; к анонимному письму прилагается клочок бумаги с именем и адресом его автора. Видано ли что-либо подобное в Париже? Если же я молча проглатываю оскорбление, на другой день все говорят об этом или намекают на это. Не далее как позавчера господин Людвиг Роллер, очень храбрый отставной офицер, слуга которого был убит случайно во время событий третьего апреля, предложил мне драться с ним на пистолетах за пределами расположения дивизии. Так вот вчера эта дерзость была предметом пересудов всего города.

– Такое письмо передают королевскому прокурору. Разве здешний королевский прокурор недостаточно энергичен?

– Он зол, как дьявол; он родственник министра и уверен в том, что выдвинется при первом политическом процессе. Я имел глупость через несколько дней после мятежа показать ему только что полученное мною анонимное письмо с угрозами; черт возьми, это было в первый раз в моей жизни! «Что мне сделать с этой бумажкой? – беспечно спросил он. – Если бы меня оскорбили таким образом, я у вас, генерал, просил бы защиты или же сам расправился бы с оскорбителем». Порою меня подмывает дать саблей по носу этим дерзким штафиркам.

– Тогда прощай должность!

– Ах, если бы я мог обстрелять их картечью! – глубоко вздохнул, подняв глаза к небу, старый бравый генерал.

– В добрый час! – ответил пэр Франции. – Таково всегда было мое мнение: спокойствием своего царствования Бонапарт был обязан пушкам святого Рока¹⁴. А разве господин Флерон, ваш префект, не доносит о настроении умов министру внутренних дел?

– Не в этом дело; он марает бумагу с утра до вечера, но это юнец, двадцативосьмилетний ветрогон, разыгрывающий нередко передо мною политика; его снедает тщеславие, а труслив он, как женщина. Напрасно говорю я ему: «Отложим соперничество префекта и генерала до более счастливых времен; и вас и меня целый день обливают помоями все решительно. Отдал ли нам, например, господин епископ наши визиты? Дворянство никогда не посещает ваших балов и не приглашает вас на свои. Если, согласно полученным нами инструкциям, мы в генеральном совете пользуемся каким-нибудь деловым поводом, чтобы поклониться дворянину, он отвечает нам на поклон только в первый раз, а во второй отворачивается от нас. Республиканская молодежь освистывает нас, глядя нам прямо в лицо». Все это очевидно. А префект отрицает это; он отвечает мне, краснея от гнева: «Говорите о себе; меня никогда не освистывали». А между тем не проходит недели, чтобы его не освистали в двух шагах от него, если он с наступлением сумерек осмелится показаться на улице.

– Но вполне ли вы уверены в этом, дорогой генерал? Министр внутренних дел показал мне десять писем господина Флерона, судя по которым он не сегодня завтра совершенно помирится с партией легитимистов. Господин Г., префект города Н., у которого я позавчера обедал, отлично ладит с людьми этого толка – я это видел собственными глазами.

– Еще бы, черт возьми! Это ловкий малый, превосходный префект, приятель всех ловких воров, сам ежегодно ворующий по двадцать-тридцать тысяч франков, да так, что его не поймает; именно за это его и уважают в департаменте. Но вы можете заподозрить меня в том, что я клевету на здешнего префекта; разрешите пригласить сюда капитана Б., – вы, кажется, знаете его? Он, должно быть, находится в приемной.

– Если не ошибаюсь, это наблюдатель, присланный в Сто седьмой полк, чтобы представить отчет о моральном состоянии гарнизона!

– Совершенно верно; всего три месяца как он здесь. Чтобы не разоблачить его перед однополчанами, я никогда не принимаю его днем.

Явился капитан Б. Увидев его на пороге, барон Теранс счел необходимым удалиться в другую комнату; капитан на примере двадцати отдельных случаев подтвердил жалобы бедного генерала.

– В этом проклятом городе молодежь настроена республикански, а дворянство тесно сплочено и богобоязненно. Господин Готье, редактор либеральной газеты и вожак республиканцев, – человек решительный и ловкий. Господин Дю Пуарье, возглавляющий дворянскую партию, – продувная бестия, каких мало, и необыкновенно активен. Словом, все решительно смеются над префектом и над генералом: оба они настоящие отщепенцы, с ними никто не считается. Епископ периодически объявляет своей пастве, что через три месяца мы падём. Я в восторге, граф, что могу снять с себя ответственность за возлагаемую на меня обязанность. Хуже всего то, что, если откровенно напишешь об этом маршалу, он отвечает, что ты проявляешь недостаточно рвения. Для него это удобно в случае смены династии...

– Ни слова больше, сударь!

– Простите, генерал, я не то хотел сказать. Здесь иезуиты помыкают дворянством, как прислугой, да и вообще всеми нереспубликанцами.

– Сколько населения в Нанси? – спросил генерал, найдя разговор слишком откровенным.

– Восемнадцать тысяч жителей, не считая гарнизона.

– Сколько среди них республиканцев?

¹⁴ В 1795 году на паперти церкви святого Рока собрались восставшие роялисты. Бонапарт подавил восстание, расстреляв толпу картечью.

- Несомненных республиканцев тридцать шесть.
- Значит, два человека на тысячу. А сколько среди них настоящих людей?
- Один-единственный – землемер Готье, редактор газеты «Aurore».
- И вы не можете унять тридцать пять молокососов, а заправили посадить за решетку?
- Прежде всего, генерал, среди всех дворян признается хорошим тоном быть богобоязненным; среди тех же, кто не богобоязнен, считается модным подражать республиканцам во всех их безрассудствах. Есть здесь кафе «Монтор», где встречается оппозиционная молодежь;

это настоящий клуб девяносто третьего года. Если четыре или пять солдат проходят мимо этих господ, они вполголоса восклицают: «*Да здравствует армия!*» Если появляется унтер-офицер, его приветствуют, с ним заговаривают, ему предлагают угощение. Если же, напротив, показывается офицер, состоящий на службе у нынешнего правительства, как, например, я, нет такого косвенного оскорбления, которое не пришлось бы вынести. Еще в последнее воскресенье, когда я проходил мимо кафе «Монтор», все сразу повернулись ко мне спиной, как солдаты на параде; у меня было сильное желание пнуть их ногой пониже спины.

– Это был верный способ уйти в запас, как только пришла бы обратная почта из Парижа. Разве вы получаете недостаточно высокий оклад?

– Тысячефранковый билет в полгода. Мимо кафе «Монтор» я прошел по рассеянности, обычно я делаю крюк шагов в пятьсот, чтобы обойти это проклятое кафе. Подумать только, что офицер, раненный под Дрезденом и при Ватерлоо, вынужден избегать встречи со штафирками.

– Со времени *Славных дней* штафирок больше не существует! – с горечью промолвил граф. – Но довольно говорить о личных делах, – прибавил он, вызвав из соседней комнаты барона Теранса и приказав капитану остаться. – Кто в Нанси предводители партий?

Генерал ответил:

– Вождями *карлизма*, выполняющими поручения Карла Десятого, на первый взгляд кажутся господа Понлеве и Васиньи, но в действительности подлинным вождем является проклятый интриган, именуемый доктором Дю Пуарье (его называют доктором, потому что он по профессии лекарь). Официально он только секретарь карлистского комитета. Иезуит Рей, старший викарий, подчинил своему влиянию всех женщин в городе, начиная с самой знатной дамы и кончая самой мелкой торговкой; у него все расписано как по нотам. Увидите, будет ли присутствовать на обеде, который префект устроит в вашу честь, хоть одно лицо, кроме чиновников, состоящих на государственной службе. Спросите, вхож ли в дома госпожи Шастеле, д'Окенкур или Коммерси хоть один из сторонников правительства, бывающий у префекта.

– Кто эти дамы?

– Представительницы очень богатой и очень спесивой знати. Госпожа д'Окенкур – самая красивая женщина в городе, живущая на широкую ногу. Госпожа де Шастеле, пожалуй, даже красивее госпожи д'Окенкур, но последняя – сумасбродка, разновидность госпожи де Сталь, столь же напыщенно защищающая Карла Десятого, как нападала на Наполеона обитательница Женевы. Я в ту пору служил командиром в Женеве, и эта взбалмошная женщина причиняла нам много беспокойств.

– А госпожа де Шастеле? – с интересом спросил граф.

– Эта совсем молодая, хотя уже успела овдоветь; ее муж был маршалом, близким ко двору Карла Десятого. Госпожа де Шастеле ораторствует в своем салоне; вся местная молодежь от нее без ума; третьего дня один *благосмыслящий* юноша проиграл крупную сумму, и госпожа де Шастеле осмелилась навестить его на дому. Не правда ли, капитан?

– Совершенно верно, генерал. Я случайно находился в переулке, ведущем к дому молодого человека. Госпожа де Шастеле вручила ему три тысячи франков золотом и украшенную алмазами записную книжку, подаренную ей герцогиней Ангулемской; молодой человек поехал заложить ее в Страсбург. При мне письмо страсбургского комиссионера.

– Довольно этих подробностей, – сказал граф капитану, который уже собрался раскрыть толстый бумажник.

– Есть еще, – продолжал генерал Теранс, – дома де Пюи-Лоранс, де Серпьер и де Марсилы, где монсиньора епископа принимают как главнокомандующего и куда, хоть лопни, ни одному из нас не показать и носа. Знаете ли, где господин префект коротает свои вечера? У госпожи Бершю, бакалейной торговли, у которой гостиная позади лавки. Об этом он не пишет министру. Я веду себя с большим достоинством, не показываюсь нигде и ложусь спать в восемь часов.

– Что по вечерам делают ваши офицеры?

– Кафе и девицы, ни одной мешаночки; мы живем здесь как отверженные. Эти проклятые мужья-буржуа занимаются взаимным сыском – все под предлогом *либерализма*; чувствуют себя хорошо только артиллеристы да офицеры инженерных войск.

– Кстати, какого они образа мыслей?

– Отъявленные республиканцы, *идеологи*. Капитан может вам подтвердить, что они состоят подписчиками «National», «Charivari», всех дурных газет и что они открыто издеваются над моими приказами относительно органов печати. Они выписывают их на имя одного из обитателей Дарне, городка, расположенного в десяти лье отсюда. Не поручусь, что они не пользуются охотой как предлогом для встреч с Готье.

– Что это за человек?

– Главарь республиканцев; я вам о нем уже говорил: главный редактор их зажигательного листка, который называется «Aurore» и занимается преимущественно тем, что всячески высмеивает меня. В прошлом году он предложил мне драться с ним на шпагах; отвратительнее же всего то, что он состоит на государственной службе; он землемер кадастра, и я не могу сместить его с должности. Сколько я ни указывал, что он послал сто семьдесят девять франков газете «National» в возмещение последнего штрафа, наложенного на нее в связи с маршалом Неем...¹⁵

– Оставим это, – прервал его, покраснев, граф N.

И ему стоило большого труда избавиться от барона Теранса, который находил облегчение в том, что изливал перед ним свою душу.

¹⁵ Мишель Ней (1769–1815) – один из наиболее известных маршалов времен Наполеоновских войн. Газета «National» опубликовала хвалебный очерк о Нее после его расстрела в период второй Реставрации.

Глава четвертая

Между тем как барон Теранс набрасывал эту печальную картину Нанси, 27-й уланский полк приближался к городу, проезжая по самой унылой равнине на свете; сухая, каменистая почва казалась совершенно бесплодной. Лишь в одном лье от города Люсьен заметил клочок земли с тремя деревьями да еще одно деревцо, росшее при дороге; оно было совсем хилым и имело не больше двадцати футов в высоту. Довольно близко горизонт замыкался цепью лысых холмов; в ущельях, образованных этими долинами, виднелось несколько чахлах виноградников. В четверти лье от города двойной ряд малорослых вязов тянулся по обеим сторонам большой дороги. У крестьян, попадавшихся навстречу, был жалкий вид. «Вот она, *прекрасная Франция!*» – думал Люсьен. Затем полк проехал мимо больших, но грязных зданий, столь печально свидетельствующих об успехах городской цивилизации; мимо общественно полезных заведений: бойни, маслоочистительного завода и т. п. За этими строениями начинались обширные, засаженные капустой огороды без единого деревца.

Наконец дорога сделала крутой поворот, и полк очутился перед первой линией крепостных сооружений, со стороны, обращенной к Парижу, казавшихся чрезвычайно низкими, словно ушедшими в землю. Полк остановился и был осмотрен караулом. Мы забыли сказать, что на расстоянии одного лье от города на берегу ручья полк сделал привал, чтобы привести себя в порядок и почистить лошадей; в несколько минут следы дорожной грязи были уничтожены, и мундиры и конская упряжь снова приобрели свой обычный блеск.

В половине девятого утра 24 марта 183* года, в пасмурный холодный день, 27-й уланский полк вступил в Нанси. Впереди шел великолепный оркестр, имевший огромный успех у буржуа и местных гризеток; тридцать два трубача в красных мундирах, сидя на белых конях, трубили что было мочи. Мало того, шесть трубачей, составлявших первый ряд, были негры, а главный трубач был без малого семи футов роста.

Городские красотки, в особенности молодые работницы в кружевных косынках, показались во всех окнах и отнюдь не остались равнодушными к этой оглушительной гармонии; правда, этому способствовали и красные, роскошные, обшитые золотым галуном мундиры трубачей.

Нанси, этот замечательно укрепленный город, шедевр Вобана¹⁶, произвел на Люсьена отвратительное впечатление. Грязь и бедность выпирали из всех углов; физиономии обитателей находились в полном соответствии с унылым видом зданий. Взор Люсьена встречал повсюду только лица ростовщиков – пошлые, лукавые, злобные лица. «Эти люди думают лишь о деньгах и о способах их накопления, – с отвращением решил он про себя. – Таков, конечно, характер и внешний вид этой Америки, которую нам превозносят либералы».

Наш юный парижанин, привыкший у себя на родине к приветливым лицам, был глубоко опечален. Узкие, плохо мощенные улицы со множеством крутых поворотов и закоулков были примечательны разве своей ужасной грязью; посредине мостовой тянулась канава со сточной водой, показавшейся Люсьену шиферным отваром.

Конь улана, ехавшего по правую руку от Люсьена, шарахнулся в сторону и обдал этой черной зловонной жижей клячу, которую дали Люсьену по приказанию подполковника. Наш герой заметил, что это маленькое происшествие послужило поводом к неподдельному взрыву веселья у тех из его новых товарищей, которые, находясь поблизости, имели возможность наблюдать всю сцену. При виде их Люсьен почувствовал, как разлетелись все его мечты; он рассердился.

¹⁶ Себастьян Ле Претр, маркиз де Вобан (1633–1707) – французский военный инженер, построивший множество укреплений на границах Франции.

«Прежде всего, – подумал он, – мне следует вспомнить, что в четверти лье отсюда нет никакого неприятеля и что многие из этих господ – те, кому не исполнилось сорока лет, – так же не видели неприятеля, как и я. Значит, все дело в пошлых привычках, порожденных скукой. Это не те молодые офицеры, которых можно видеть на сцене «Жимназ», отважные, безрассудные и веселые; это просто скучающие люди, которые не прочь поразвлечься на мой счет; они будут наглы со мною, пока я не скрещу шпаги с кем-нибудь из них; лучше установить мирные отношения. Но может ли этот толстяк-подполковник быть моим секундантом? Сомневаюсь: его чин не позволит ему; он должен подавать пример порядка остальным... Где найти секунданта?»

Люсьен поднял глаза и увидел большой дом, менее убогий, чем те, мимо которых проезжал до сих пор полк; посредине широкой белой стены он заметил окно с жалюзи ярко-зеленого цвета. «Какое пристрастие к кричащим тонам у этих мошенников-провинциалов!»

Люсьен с удовольствием задержался на этой не слишком благожелательной мысли, как вдруг увидел, что ярко-зеленые жалюзи немного приоткрылись: в окне показалась молодая белокурая женщина с роскошными волосами и высокомерным лицом; она смотрела на проходящий полк. Все печальные мысли сразу покинули Люсьена при виде хорошенькой головки; он воспрянул духом. Облупленные, грязные стены домов Нанси, черная грязь, зависть и ревность сослуживцев, предстоящие дуэли, дрянная мостовая, заставлявшая скользить клячу, которую ему, быть может, дали нарочно, – все исчезло. Проходя под аркой, в конце улицы, полк был вынужден остановиться. Молодая женщина закрыла окно и продолжала смотреть, наполовину скрытая занавеской из вышитого муслина. Ей можно было дать лет двадцать пять. Люсьен нашел в ее глазах особое выражение; была ли то ирония, злоба или просто молодость и известное предрасположение к подтруниванию над всем на свете?

Второй эскадрон, эскадрон Люсьена, тронулся сразу; Люсьен, не сводя взора с ярко-зеленых жалюзи, пришпорил лошадь, она поскользнулась, упала и сбросила его на землю.

Вскочить на ноги, ударить клячу ногами, прыгнуть в седло было для него, конечно, делом одной минуты, но все вокруг разразилось громким хохотом. Люсьен заметил, что дама с пепельно-белокурыми волосами еще улыбалась в тот момент, когда он уже был в седле. Офицеры продолжали смеяться *деланным смехом, нарочно*, как смеется представитель партии центра в палате депутатов, когда министрам бросают обоснованный упрек.

– А все-таки он молодчага, – заметил старый седоусый вахмистр.

– Никогда у этой клячи не было лучшего ездока, – отозвался один из улан.

Люсьен был красен как рак, но притворился совершенно спокойным.

Как только полк разместился в казармах и покончили с нарядами, Люсьен галопом погнал свою клячу на почтовую станцию.

– Сударь, – сказал он станционному смотрителю, – я, как видите, офицер, и у меня нет коня. Эта кляча, которую мне временно дали в полку, может быть, для того, чтобы надо мной поиздеваться, уже сбросила меня на землю, как вы тоже видите. – И он, покраснев, взглянул на следы высохшей грязи, которая белела на левом рукаве мундира, выше локтя. – Словом, сударь, есть у вас в городе подходящая лошадь, которую можно было бы купить? И сейчас же?

– Черт возьми, вот отличный случай *накрыть* вас. Я этого, однако, не сделаю, – сказал станционный смотритель господин Бушар.

Это был толстяк с внушительной внешностью, с насмешливым выражением лица и пронизывающими собеседника глазами; произнося эти слова, он всматривался в изящного молодого человека, чтобы определить, сколько луидоров ему можно будет прикинуть к цене лошади.

– Вы, сударь, кавалерийский офицер и, конечно, знаете толк в лошадях.

Так как Люсьен промолчал, воздерживаясь от всякого бахвальства, станционный смотритель счел себя вправе прибавить:

– Позволю себе спросить вас: были ли вы на войне?

При этом вопросе, который можно было счесть за издевку, открытое лицо Люсьена мгновенно приняло другое выражение.

– Речь идет не о том, был ли я на войне, – ответил он крайне сухо, – а о том, есть ли у вас, у станционного смотрителя, лошадь, которую можно было бы купить.

У господина Бушара, которого так недвусмысленно осаждали, в первую минуту явилось желание прекратить на этом разговор с молодым офицером. Но упустить случай заработать десять луидоров, а главное, добровольно лишиться себя возможности поболтать часок оказалось выше его сил. В молодости он служил в войсках и смотрел на офицеров в возрасте Люсьена как на детей, с серьезным видом занимающихся пустяками.

– Сударь, – слащавым тоном продолжал Бушар, точно ничего не произошло между ними, – я несколько лет служил бригадиром, а затем вахмистром в Первом кирасирском и в этом чине был ранен в четырнадцатом году под Монмирайлем¹⁷ при исполнении служебных обязанностей; потому-то я и заговорил о войне. Что касается лошадей, то мои лошади – жалкие клячонки ценою в десять-двенадцать луидоров, недостойные такого молодцеватого и щеголеватого офицера, как вы; они в лучшем случае способны сделать один перегон – настоящие клячи! Но если вы умеете ездить верхом, в чем я не сомневаюсь, – тут глаза Бушара скользнули по левому рукаву изящного мундира, забрызганному грязью, и он, против собственного желания, опять впал в насмешливый тон, – если вы умеете ездить верхом, то господин Флерон, наш молодой префект, может вполне устроить ваше дело: у него есть английская лошадь, проданная ему проживающим здесь лордом; ее хорошо знают местные любители – великолепный подколенок, восхитительные лопатки, цена три тысячи франков; эта лошадь сбросила господина Флерона на землю только четыре раза по той уважительной причине, что вышеупомянутый префект рискнул сесть на нее только четыре раза; последнее падение произошло на смотре национальной гвардии, составленной частично из старых служак вроде меня, отставного вахмистра...

– Идемте к нему, сударь, – недовольно перебил его Люсьен. – Я сейчас же ее куплю.

Решительный тон Люсьена и твердость, с которой он обрывал его на полуслове, покорили бывшего унтер-офицера.

– Идем, господин корнет, – ответил он со всей возможной почтительностью и сразу же двинулся пешком за клячей, с которой так и не сошел Люсьен.

Пришлось отправиться в префектуру, находившуюся на краю города, у порохового склада, в пяти минутах ходьбы от последних жилых домов; это был старинный монастырь, отлично приспособленный под служебное здание одним из последних префектов Империи. Флигель, занимаемый префектом, был окружен английским садом. Люсьен со своим спутником добрались до железных дверей. Из первого этажа, где находилась канцелярия, их направили к другим дверям, украшенным колоннами, откуда лестница вела во второй, роскошно отделанный этаж, в котором жил господин Флерон. Господин Бушар позвонил, но долгое время никто не подходил к дверям; наконец появился с очень занятым видом чрезвычайно щегольски одетый лакей и пригласил посетителей в еще не убранную гостиную; правда, был всего час пополудни. Лакей повторял с напускной важностью свои обычные фразы о том, что видеть господина префекта очень трудно, и Люсьен уже готов был рассердиться, когда господин Бушар произнес сакраментальные слова:

– Мы пришли по *денежному делу*, интересующему господина префекта.

Важного лакея это заявление как будто сконфузило, но он не подал и виду.

¹⁷ Сражение при Монмирайле 11–12 февраля 1814 года увенчалось одной из последних побед Наполеона над союзными войсками.

– Э, черт возьми, речь идет о продаже Лары, который так славно сбрасывает на землю нашего господина префекта, – прибавил отставной вахмистр.

Услышав это, лакей опрометью кинулся вон из комнаты, попросив посетителей подождать.

Минут десять спустя Люсьен увидел молодого человека четырех с половиной футов роста; он вошел с важностью; в его наружности чувствовалась какая-то смесь робости и педантизма. Казалось, он был преисполнен почтения к своим прекрасным волосам, до того белокурым, что они выглядели бесцветными. Волосы эти, необычайно тонкие и чрезмерно длинные, были на лбу разделены безукоризненно правильным пробором на две равные части, по немецкой моде. При виде этой фигурки, двигавшейся точно на пружинах и притязавшей одновременно и на изящество и на величественность, гнев Люсьена сразу улегся; им овладело безумное желание расхохотаться, и ему стоило немалого труда не разразиться громким смехом. «Эта голова префекта, – подумал он, – похожа на копию головы Христа на картинах Луки Кранаха. Вот он, один из тех страшных префектов, против которых либеральные газеты каждое утро мечут громы и молнии».

Люсьен уже не сердился на то, что его заставили ждать: он внимательно рассматривал маленького чопорного человечка, приближавшегося довольно медленно, вразвалку; это был вид существа, глубоко бесстрастного и стоящего выше земной суеты. Люсьен до того был поглощен созерцанием, что произошла неловкая пауза.

Господин Флерон был польщен впечатлением, которое он произвел, да к тому же еще на военного. Наконец он осведомился у Люсьена, чем он может быть ему полезен, но произнес эту фразу картавя и тоном, вызывавшим желание ответить дерзостью.

Люсьен с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться префекту прямо в лицо; к несчастью, он вспомнил о некоем депутате, тоже Флероне. «Этот субъект, вероятно, достойный сын или племянник того Флерона, который плачет от умиления, говоря о *наших достойных министрах*».

Воспоминание об этом было еще слишком свежо для нашего героя: он разразился смехом.

– Милостивый государь, – сказал он наконец, рассматривая халат, единственный в своем роде, в который драпировался юный префект, – милостивый государь, говорят, что у вас продается лошадь; я хочу взглянуть на нее, поездить на ней четверть часа и готов уплатить за нее наличными.

Достойный префект казался погруженным в задумчивость. Он даже не обратил должного внимания на смех молодого офицера: самым существенным в его глазах было вести себя так, чтобы никто не подумал, что он хоть немного заинтересован в исходе сделки.

– Милостивый государь, – ответил он наконец, точно решив повторить заученный наизусть урок, – важные и неотложные дела, которыми я занят сверх меры, боюсь, привели к тому, что я в отношении вас допустил невежливость. У меня есть основания предполагать, что я заставил вас ждать. Это было бы непростительно с моей стороны.

И он рассыпался в любезностях. Слащавые фразы отняли довольно много времени. Так как он все не приходил к концу, наш герой, менее дороживший своей репутацией благовоспитанного человека, взял на себя смелость напомнить о том, что привело его сюда.

– Лошадь английской породы, – продолжал почти интимным тоном префект, – настоящая полукровка; я приобрел ее у лорда Линка, долгие годы проживающего в наших краях; лошадь хорошо известна знатокам; но должен признаться, – добавил он, опуская глаза, – что в данное время за ней ходит лишь конюх-француз; я предоставлю Перена в ваше распоряжение. Можете поверить, сударь, что я не доверяю ухода за нею первому встречному; никто, кроме него, не приближается к ней.

Отдав распоряжение напыщенным слогом и прислушиваясь к собственным словам, юный сановник плотно запахнул в свой кашемировый, тканый золотом халат и надвинул низко на лоб причудливый, ежеминутно грозивший упасть на пол колпак, похожий на головной убор, употребляемый в легкой кавалерии. Все эти движения были проделаны медленно, под пристальным взглядом станционного смотрителя Бушара, у которого насмешливое выражение на лице сменилось совершенно неприличной горькой улыбкой. Но эта деланая улыбка не произвела ни малейшего эффекта. Господин префект, не имевший обыкновения глядеть на таких людей, убедившись, что его туалет в порядке, поклонился Люсьену, слегка кивнул головой господину Бушару, даже не посмотрев на него, и удалился в свои покои.

– Подумать только, этакий заморыш устроит нам в будущее воскресенье смотр! – воскликнул Бушар. – Можно лопнуть от досады.

Гнев господина Бушара против юнцов, преуспевших в жизни больше, чем унтер-офицеры, сражавшиеся при Монмирайле, нашел вскоре другой повод к злорадству. Едва Лара увидел себя вне стен конюшни, откуда бедняжку выводили слишком редко, как он несколько раз обежал двор и стал делать невероятные скачки; высоко задирая голову, он отрывался от земли четырьмя ногами сразу, словно желал вскарабкаться на платаны, окружавшие двор префектуры.

– Лошадь неплохая, – заметил Бушар, с угрюмым видом подходя к Люсьену, – но, пожалуй, уже с неделю ни господин префект, ни его лакей Перен не решались выпустить ее из конюшни; быть может, благоразумнее было бы...

Люсьен был поражен тайной радостью, светившейся в глазах станционного смотрителя. «Мне предназначено судьбою, – подумал он, – дважды в один день быть сброшенным на землю; таков должен быть мой дебют в Нанси». Бушар набрал немного овса в решето и остановил лошадь, но Люсьену стоило большого труда сесть на нее и заставить ее слушаться.

Он тронулся с места галопом, но вскоре перевел коня на шаг. Изумленный красотой и мощью аллюров Лары, Люсьен не постеснялся обречь на ожидание станционного смотрителя-зубоскала. Лара пробежал изрядное расстояние и лишь через полчаса возвратился во двор префектуры. Лакей был порядком испуган этим промедлением. Что касается станционного смотрителя, то он был почти уверен, что лошадь вернется одна. Увидав ее с седоком, он пристально осмотрел мундир Люсьена: никаких признаков падения не было заметно. «Ну, этот будет половчее других», – решил Бушар.

Люсьен закончил сделку, не сходя с коня. «Нельзя, чтобы Нанси увидел меня опять на роковой кляче». Господин Бушар, не разделявший этих опасений, сел на полковую лошадь. Лакей Перен направился с ними в казначейство, где Люсьен взял деньги.

– Видите, сударь, я позволяю сбрасывать себя на землю только раз на дню, – заявил Люсьен Бушару, когда они остались одни. – Но меня глубоко огорчает, что мое падение произошло под окнами с ярко-зелеными жалюзи, перед аркой... У въезда в город, около особняка...

– А! На улице Помп, – сказал Бушар. – И у самого маленького из окон стояла, конечно, красивая дама?

– Да, сударь, и она посмеялась над моей неудачей. Чрезвычайно неприятно дебютировать таким образом в гарнизоне, да еще в гарнизоне, где начинаешь службу! Вы ведь были военным и понимаете это, сударь. Что станут говорить обо мне в полку? Но кто эта дама?

– Это была, вероятно, женщина лет двадцати пяти, с пепельно-белокурыми волосами чуть не до самой земли?

– И с красивыми, но очень лукавыми глазами.

– Это госпожа де Шастеле, вдова, перед которой лебезят все здешние дворяне, потому что у нее миллионное состояние. Она при каждом случае с жаром восхваляет Карла Десятого, и, будь я одним из сотрудников нашего маленького префекта, я бы живо ее упрятал; наш край в конце концов станет второй Вандеей. Это ярая ультрароялистка, которая рада была бы сжить

со свету всех, кто когда-либо служил интересам родины. Она дочь маркиза де Понлеве, одного из наших завзятых ультрароялистов; он, – прибавил Бушар, понизив голос, – один из эмиссаров Карла Десятого в нашей стране. Это между нами; я не хочу быть доносчиком.

– Будьте покойны.

– Они приехали сюда сеять смуту после июльских дней. Они хотят, по их словам, довести до голода парижское население, лишив его работы; но при всем том маркиз человек недалекий. Его правая рука – доктор Дю Пуарье, первый врач в наших краях. Господин Дю Пуарье, пройдоха, каких мало, водит за нос как господина де Понлеве, так и господина де Пюи-Лоранса, второго эмиссара Карла Десятого. Здесь ведь открыто устраивают заговоры. Есть еще и аббат Олив, он шпион...

– Ах, дорогой мой, – смеясь, перебил его Люсьен, – я нисколько не возражаю против того, чтобы аббат Олив занимался шпионажем, – мало ли есть на свете шпионов. Но, пожалуйста, расскажите мне еще немножко об этой красавице, госпоже де Шастеле.

– А, об этой красотке, которая расхохоталась, когда вы свалились с лошади? Она насмотрелась на такие картины. Она вдова одного из бригадных генералов, состоявших лично при Карле Десятом не то обер-камергером, не то генерал-адъютантом, словом, вдова вельможи, который, перебравшись сюда после июльских дней, вечно умирал от страха. Ему все казалось, что чернь *вышла на улицу*, как он мне раз двадцать об этом говорил. Но он был человек не злой, ничуть не наглый, напротив, очень кроткий. Иной раз, когда приезжали какие-то посланцы из Парижа, он требовал, чтобы на станции для него держали пару лошадей, и щедро платил за них. Ибо, надо вам сказать, сударь, до Рейна отсюда по проселочной дороге всего девятнадцать лье. Это был рослый, худощавый, бледный человек. Он вечно чего-то боялся.

– А его вдова? – смеясь, спросил Люсьен.

– У нее был особняк в Сен-Жерменском предместье, на Вавилонской улице, – название-то какое! Вы, сударь, должно быть, знаете эту улицу. Госпоже де Шастеле очень хочется возвратиться в Париж, но отец против этого и старается перессорить ее со всеми ее друзьями; он хочет совсем забрать ее в руки. Дело в том, что при господстве иезуитов, в годы царствования Карла Десятого, господин де Шастеле, большой ханжа, нажил миллионы на одном из займов; его вдова владеет всем капиталом, обращенным в земельную ренту, а господин де Понлеве стремится наложить на нее руку в случае революции.

Каждое утро господин де Шастеле приказывал заложить коляску и ехал к мессе в пятидесяти шагах от его дома; английская коляска, стоявшая по меньшей мере десять тысяч франков, катилась по мостовой без всякого шума; он говорил, что это необходимо делать для народа. Он придавал этому очень большое значение; по воскресеньям на торжественном богослужении он всегда бывал в парадном мундире, с красной орденской лентой через плечо и в сопровождении четырех лакеев в богатых ливреях и желтых перчатках. А между тем, умирая, он ничего не оставил своей челяди, потому что – так объяснял он причащавшему его викарию – *все они якобинцы*. Но супруга, оставшаяся в этом мире и опасаящаяся многого, заявила, что это простое упущение в завещании; она назначила им небольшие пенсии, а некоторых оставила на службе у себя и иногда по какому-нибудь пустячному поводу дарит им по сорок франков. Она занимает весь второй этаж особняка де Понлеве; там вы ее и видели; но отец требует, чтобы она платила за помещение. Это обходится ей в четыре тысячи франков, хотя маркиз никогда не сдал бы второй этаж больше чем за сто луидоров. Это отъявленный скряга; но разговаривает он со всеми, и очень вежливо; он утверждает, что у нас скоро будет республика и снова придется эмигрировать; что будут рубить головы дворянам и духовенству и т. д. Во время первой эмиграции господин де Понлеве сильно бедствовал: говорят, в Гамбурге он работал переплетчиком; но он приходит в ярость, когда теперь при нем заговаривают о книгах. Как бы там ни было, он рассчитывает в случае нужды на капиталы дочери; потому-то он и не хочет терять ее из виду; одному из моих друзей он заявил...

– Но, сударь, – перебил его Люсьен, – что мне за дело до странностей этого старика? Расскажите мне о госпоже де Шастеле.

– Она собирает у себя гостей по пятницам, чтобы произносить перед ними проповеди, точно настоящий священник. Она говорит, по словам прислуги, как ангел божий; все понимают ее; в иные дни она трогает их до слез. «Дрянь вы этакая, – говорю я им, – она ведь ненавидит народ; если бы это было в ее власти, она всех нас передушила бы». Но она все же им кружит головы, они ее любят.

Она очень осуждает отца, говорит лакей, за то, что он не желает видеть своего младшего брата, председателя королевского суда в Меце, потому что тот принес присягу; маркиз считает, что брат этим запятнал себя. Ни один человек умеренных убеждений в этом обществе не принят. Этот щеголь-префект, продавший вам коня, молча сносит обиду за обидой; он не смеет показаться госпоже де Шастеле, которая выложила бы ему все начистоту. Когда он является с визитом к госпоже д'Окенкур, самой блестящей из наших дам, она становится у окна, выходящего на улицу, и велит передать через швейцара, что ее нет дома... Но простите, сударь, я забыл: вы сами человек умеренных убеждений.

Последняя фраза была довольно удачна; не менее удачен был и ответ Люсьена:

– Мой дорогой, вы сообщаете мне ряд сведений, и я выслушиваю их как донесение о позиции, занимаемой противником. А пока прощайте. До свиданья. Какая гостиница считается здесь лучшей?

– Гостиница «Трех императоров» на улице Старых иезуитов, номер тринадцать, но вам будет трудно найти ее. Мне с вами по дороге; я почту за честь проводить вас до этой гостиницы.

«Я слишком несерьезно говорил с ним, – решил станционный смотритель, – надо этому молодому ветрогону рассказать кое-что о наших дамах».

– Госпожа де Шастеле – самая чудная из здешних дам, – продолжал Бушар с развязностью простолюдина, желающего скрыть свое замешательство. – Должен вам сказать, что госпожа д'Окенкур не менее красива, чем она; но у госпожи де Шастеле был только один любовник – господин Тома де Бюзан де Сисиль, гусарский подполковник. Она всегда какая-то печальная и странная; только когда она говорит о Генрихе Пятом, то вся загорается. Ее люди передают, что она иногда приказывает заложить карету, потом через час, даже не выйдя из дому, велит распрягать лошадей. У нее замечательно красивые глаза, как вы сами видели, и притом глаза, выражающие все, что угодно, но госпожа д'Окенкур гораздо веселее и остроумнее ее, она всегда умеет сказать что-нибудь забавное. Госпожа д'Окенкур держит под башмаком своего мужа, отставного ротмистра, раненного в июльские дни, впрочем, вполне порядочного человека. Да они все здесь порядочные люди. Но она вертит им, как хочет, и ежегодно без зазрения совести меняет любовников. Теперь на нее тратит все свои деньги господин д'Антен. Я без конца отпускаю ему лошадей для прогулок в Бюрельвильерский лес, что виднеется вон там, в конце равнины; одному богу известно, чем они занимаются в этом лесу. Моих почтальонов они напаивают до бесчувствия, чтобы те ничего не видели и не слышали. Черта с два, если они, вернувшись оттуда, способны сказать мне хотя бы словечко!

– Да где вы видите этот лес? – спросил Люсьен, всматриваясь в самый унылый пейзаж на свете.

– В одной миле отсюда, в конце равнины, великолепный черный лес; прекрасное место. Там есть кафе «Зеленый охотник», где всегда играет оркестр; его содержат немцы; это здешние Тиволи...

Люсьен шевельнул повод, и это встревожило болтуна. Ему показалось, что от него сейчас ускользнет его жертва, и какая жертва! Изящный молодой парижанин, новоприбывший и обязанный слушать его!

– Каждую неделю эта хорошенькая белокурая женщина, госпожа де Шастеле, – торопливо продолжал он, – которая слегка рассмеялась, увидев, как вы упали, или, вернее, как упала

ваша лошадь (это существенная разница), – словом, эта дама, можно сказать, каждую неделю отклоняет предложения искателей ее руки. Господин де Блансе, ее кузен, находящийся при ней неотступно, господин де Гоэлло, величайший интриган, настоящий иезуит, граф Людвиг Роллер, самый бедовый из этих дворян, – все остались ни с чем. Она не так глупа, чтобы выйти замуж за провинциала! Чтобы не скучать, она мужественно вступила в незаконное сожительство, как я вам уже говорил, с подполковником Двадцатого гусарского господином Тома де Бюзан де Сисиль. Он был слишком к ней *привязан*, но это неважно; он вел себя смирно, и к тому же он, по слухам, один из самых знатных дворян во Франции.

Есть еще маркиза де Пюи-Лоранс и госпожа де Сен-Венсан, которые не позволяют себе ничего; но, вообще, здешние дамы боятся нарушать правила нравственности. Они в этом отношении дьявольски строги, и надо вам сказать, сударь, со всем уважением, которым я вам обязан, я, всего лишь бывший унтер-офицер кирасирского полка (правда, за десять лет я участвовал в десяти кампаниях), я сомневаюсь в том, чтобы вдова господина де Шастеле, бригадного генерала, взявшая себе в любовники подполковника, захотела откликнуться на чувства простого корнета, как бы он ни был мил. Потому что, – прибавил с соболезнающим видом станционный смотритель, – личные достоинства здесь не в почете: все решается чином и знатностью происхождения.

«В таком случае я почти *ничто*», – подумал Люсьен.

– Прощайте, сударь, – сказал он Бушару, пуская рысью коня. – Я пришлю улана за лошадью, оставленной у вас в конюшне. До свиданья.

Он заметил вдали огромную вывеску «Трех императоров».

«Что там ни говори, а этого молодчика с умеренными убеждениями я основательно поддел, – торжествовал Бушар, посмеиваясь про себя. – И вдобавок сорок франков для раздачи моим почтальонам! Почаще бы только это повторялось!»

Глава пятая

У господина Бушара было больше оснований для насмешек, чем он сам предполагал. Когда, уже не видя рядом с собой этого человека с острыми глазами, Люсьен получил возможность предаться своим мыслям, он пришел в очень дурное настроение. Падение с лошади, которым он дебютировал в провинциальном городе и в кавалерийском полку, представилось ему величайшим несчастьем. «Этого никогда не забудут; всякий раз, когда я буду проезжать по улице, хотя бы я сидел в седле, как самый старый улан, люди будут говорить: „А, это тот молодой парижанин, который так смешно упал с лошади, когда полк вступал в город“».

Наш герой в данном случае испытывал на себе последствия парижского воспитания, развивающего в людях только тщеславие, печальный удел сынков богатых родителей. Все это тщеславие сразу встрепенулось в первые же часы пребывания Люсьена в полку; Люсьен уже приготовился к дуэли; надо было подойти к происшествию легко и решительно, надо было выказать при этом отвагу и т. п. Напротив, он очутился в нелепом и унижительном положении под окном молодой женщины, самой знатной из местных дам, отъявленной роялистки и болтушки, которая сумеет осмеять сторонника политической умеренности. Чего только она не наплетет про него!

Он не мог отделаться от воспоминания об улыбке, скользнувшей по ее губам в тот момент, когда он поднялся с земли, весь облепленный грязью, и ударил коня ногами. «Что за дурацкая мысль ударить эту клячу ногами! И притом с яростью! Это действительно повод к издевательствам. Каждый может упасть вместе с конем, но бить его, рассвирепев от гнева, выказать себя до такой степени несчастным из-за падения! Надо было сохранить полное спокойствие, вести себя, как говорит мой отец, как раз наоборот тому, чего от меня ждали...

Если я когда-нибудь встречусь с этой госпожой де Шастеле, ей трудно будет удержаться от смеха при виде меня. А что станут говорить в полку? Ну, что касается этого, господа зубоскалы, я бы вам посоветовал зубоскалить шепотом!»

Взволнованный неприятными мыслями, Люсьен, найдя своего слугу в самом лучшем номере «Трех императоров», употребил по меньшей мере часа два на тщательнейший туалет, как это полагалось, по его мнению, молодому офицеру.

«Лиха беда начало; мне предстоит многое исправить. Мундир сидит на мне отлично, — сказал он себе, глядясь в два зеркала, которые он распорядился поставить таким образом, чтобы видеть себя с головы до пят, — однако насмешливые глаза госпожи де Шастеле, эти глаза, светящиеся лукавством, всегда отыщут брызги грязи на моем левом рукаве». — И он горестно поглядывал на свой дорожный мундир, валявшийся на одном из стульев и сохранивший, невзирая на чистку, явные следы несчастного происшествия.

Покончив с затянувшимся туалетом, который, хотя он об этом и не подозревал, показался настоящим спектаклем для прислуги и для хозяйки гостиницы, предоставившей в его распоряжение свое большое зеркало, Люсьен спустился во двор и не менее критическим взглядом осмотрел туалет Лары. Он нашел его в порядке, за исключением правого заднего копыта, которое он велел снова начистить в своем присутствии. Наконец он прыгнул в седло с легкостью вольтижера, а не с точностью и солидностью, свойственной военному. Ему слишком хотелось показать столпившейся во дворе гостиничной прислуге, что он превосходно чувствует себя на лошади. Он осведомился, где находится улица Помп, и пустил коня крупной рысью. «К счастью, — думал он, — госпожа де Шастеле, вдова генерала, должна быть хорошим судьей».

Но ярко-зеленые жалюзи были наглухо закрыты, и Люсьен напрасно проехался взад и вперед. Он отправился к подполковнику Филото поблагодарить его и расспросить об обязанностях, налагаемых приличиями на корнета в первый день его пребывания в полку.

Он сделал два-три десятиминутных визита с ледяною холодностью, подобающей двадцатилетнему молодому человеку, и этот признак отличного воспитания вызвал вполне желанный эффект.

Отделавшись от визитов, он вернулся на то место, где утром упал с лошады. Он доехал крупной рысью до особняка де Понлеве и у самого дома перевел коня на мелкий, восхитительно плавный галоп. Несколько движений поводом, незаметных для непосвященных, вызвали у Лары, удивленного дерзостью всадника, нетерпеливые удары копытом, способные привести в восхищение знатоков. Но тщетно Люсьен сохранял в седле неподвижную и даже немножко напряженную позу: зеленые жалюзи оставались по-прежнему закрыты.

Как настоящий военный, он узнал окно, где увидел госпожу де Шастеле: оно было с готической рамой и значительно меньше других; находилось оно во втором этаже большого, по-видимому, очень старинного дома, недавно окрашенного клеевой краской, как того требует хороший провинциальный вкус. Во втором этаже пробили прекрасные окна, но в третьем этаже окна были еще с поперечинами. Этот полуготический дом был огражден великолепной современной работы железной решеткой со стороны Алтарной улицы, пересекавшей под прямым углом улицу Помп. Над воротами Люсьен прочел на темно-сером мраморе надпись золотыми буквами:

ОСОБНЯК ДЕ ПОНЛЕВЕ

У этого квартала был невеселый вид, и Алтарная улица казалась одною из самых красивых и вместе с тем самых безлюдных улиц в городе; на каждом шагу здесь росла сорная трава.

«С каким бы пренебрежением я отнесся к этому унылому дому, – подумал Люсьен, – если бы в нем не жила молодая женщина, посмеявшаяся надо мной, и не без оснований! Но черт с ней, с этой провинциалкой! Где в этом дурацком городе место общественных гуляний? Поищем».

Благодаря резвости своего коня Люсьен меньше чем в три четверти часа объехал весь Нанси, жалкое скопление домишек, окруженное крепостными сооружениями. Сколько ни искал он, ему не удалось найти другого места для гуляний, кроме продолговатой площади, пересеченной в обоих концах зловонными канавами, в которые стекались городские нечистоты; вокруг печально прозябали низкорослые липы, тщательно подстриженные веером.

«Можно ли представить себе более мрачное место на свете, чем этот город!» – повторял себе наш герой при каждом новом открытии, и сердце его сжималось от тоски.

Поддаваясь чувству столь глубокого отвращения, он проявлял известную неблагодарность к судьбе, ибо в то время, как он кружил по улицам и крепостным валам, его заметили госпожа д'Окенкур, госпожа де Пюи-Лоранс и даже мадемуазель Бершю, первая красавица среди мешанок Нанси. Мадемуазель Бершю даже сказала: «Какой интересный всадник!»

В обычное время Люсьен легко мог бы прогуливаться по Нанси *инкогнито*, но в этот день все слои общества – высший, низший и средний – были взволнованы: прибытие нового полка в провинции – событие огромное; Париж не имеет ни малейшего представления об этих чувствах, так же как о многих других. При вступлении полка в город торговец мечтает о расцвете своего заведения, а почтенная мать семейства – об устройстве одной из своих дочерей; надо только понравиться клиентам. Дворянство задает себе вопрос: «Есть ли в этом полку представители знатных фамилий?» Священники: «Все ли солдаты были у первого причастия?» Причастить впервые сотню заблудших овец – заслуга немаловажная в глазах его преосвященства. Гризетки испытывали чувства менее глубокие, нежели служители господа, но, пожалуй, более пылкие.

За время этой первой прогулки Люсьена, прошедшей в поисках места общественных гуляний, немного подчеркнутая смелость, с которою он управлял конем префекта, известным

своим норовом, – смелость, по-видимому доказывавшая, что он действительно купил Лару, – вызвала уважение к нему у целого ряда лиц. «Кто этот корнет, – задавали они вопрос, – ознаменовавший свой приезд в наш город покупкой лошади, стоящей тысячу экю?»

Среди особ, наиболее пораженных предполагаемым богатством новоприбывшего корнета, справедливость требует отметить в первую очередь мадемуазель Сильвиану Бершю.

– Мама, мама! – воскликнула она, увидев прославившуюся на весь город лошадь префекта. – Это Лара господина префекта, но на этот раз всадник не проявляет никакого страха!

– Молодой человек, должно быть, очень богат, – ответила госпожа Бершю, и вскоре эта мысль поглотила внимание матери и дочери.

В тот же день все знатное общество Нанси обедало у господина д’Окенкура, очень богатого молодого человека, который уже имел честь быть представленным читателю. Праздновали день рождения одной из принцесс, живших в изгнании. Наряду с дюжиной дураков, влюбленных в прошлое и опасавшихся будущего, следует отметить семь-восемь бывших офицеров, молодых, полных огня, желавших войны больше всего на свете и не сумевших с легким сердцем примириться с последствиями переворота. Выйдя в отставку после июльских дней, они ничем не занимались и считали себя несчастными; вынужденная праздность, в которой они прозябали, отнюдь не доставляла им радости, и эта невеселая жизнь не вызвала у них излишней снисходительности к молодым офицерам, состоявшим на действительной службе в армии. Вечное недовольство неблагоприятно отражалось на их суждениях, и хотя они были людьми довольно тонкими, это недовольство проявлялось в притворном пренебрежении к существующему порядку.

Во время своей рекогносцировки Люсьен трижды проехал мимо особняка де Сов д’Окенкур, сад которого выступом преграждал дорогу к крепостному валу. Гости как раз вставали из-за стола; все, что было в городе наиболее *безукоризненного* – по рождению ли или по благомыслию, – устремило взоры на Люсьена. Лучшие судьи, подполковник де Васињи, три брата Роллеры, господин де Блансе, господин д’Антен – оба ротмистры, – гг. де Гоэлло, Мюрсе, де Ланфор – все произнесли свое слово. Бедные молодые люди в этот день скучали меньше, чем обычно; утром прибытие полка послужило для них поводом к разговорам о войне и о лошадях – два предмета, наряду с акварельной живописью, в области которых провинция разрешает истому дворянину иметь кой-какой запас сведений; вечером им выпало редкое удовольствие увидеть вблизи и разобрать по косточкам офицера новой армии.

– Конь бедняги-префекта, должно быть, здорово удивлен, чувствуя, что им так смело управляют, – заметил господин д’Антен, друг госпожи д’Окенкур.

– Юнец недавно сел впервые на коня, хотя сидит он неплохо, – откликнулся господин де Васињи.

Это был очень красивый сорокалетний мужчина с крупными чертами лица, сохранявшего выражение смертельной скуки даже в минуты, когда он шутил.

– Это, по-видимому, один из тех торговцев мебелью или свечных фабрикантов, которые именуют себя июльскими *героями*, – промолвил господин де Гоэлло, высокого роста блондин, чопорный, с лицом, изборожденным морщинами зависти.

– Как вы отстали, мой бедный Гоэлло! – сказала госпожа де Пюи-Лоранс, местная острячка. – Июльские герои уже давно не в моде; это, вероятно, сын какого-нибудь пузатого продажного депутата.

– Одного из тех красноречивых персонажей, которые, выстроившись шеренгой за спиной министров, кричат «тс!» или разражаются хохотом при обсуждении законопроекта об улучшении пищевого довольствия каторжников, в обоих случаях руководствуясь сигналом, подаваемым им спиной министра.

Друг госпожи де Пюи-Лоранс, изящный господин де Ланфор, этой красивой, медленно произнесенной фразой развивал и иллюстрировал мысль своей остроумной подруги.

– Он, вероятно, на две недели взял напрокат лошадь префекта: папаша получает ведь немалые деньги из дворца, – сказал господин де Санреаль.

– Полно! «Ты должен знать людей, раз говоришь о них, – перебил его маркиз де Васиньи. – Муравей ссужать не любит...»

Мрачный Людвиг Роллер трагическим тоном подхватил:

Не велик еще порок!

– Сговоритесь же между собой, господа: где мог он взять деньги, чтобы купить лошадь? – сказала госпожа де Сов д'Окенкур. – Не станете же вы из предубеждения против этого свечного фабриканта отрицать, что в данный момент он сидит на лошади?

– Деньги! Деньги! – воскликнул господин д'Антен. – Нет ничего легче: папенька либо на трибуне, либо в бюджетной комиссии высказался за приобретение ружей Жиске или в пользу другой какой-нибудь военной поставки¹⁸.

– Надо жить самому и давать жить другим, – с глубокомысленным видом высказал политическую мысль господин де Васиньи, – этого никогда не понимали наши бедные Бурбоны. Надо было досыта *накормить* всех юных плебеев, болтунов и нахалов, надо было, как принято иначе говорить, *иметь талант*. Кто усомнится в том, что господа N., N. и N. продались бы Карлу Десятому, как они продаются теперешнему монарху? И даже дешевле, ибо это было бы для них меньшим позором. Они были бы приняты в хорошем обществе, они были бы вхожи в светские дома, что является заветной мечтой всякого буржуа, как только обед у него обеспечен.

– Слава богу, вот мы и погрузились в высокую политику! – воскликнула госпожа де Пюи-Лоранс.

– Июльский ли он герой, столяр или сын какого-нибудь жирного богача, пусть будет он кем угодно, но на коне он сидит премило, – сказала госпожа де Сов д'Окенкур. – Уж он-то во всяком случае, поскольку его отец продан, будет избегать разговоров о политике и окажется лучшим собеседником, чем наш Васиньи, который удручает своих друзей постоянными сетованиями и вечными догадками. Скорбные вздохи следовало бы запретить, по крайней мере после обеда.

– Приятный мужчина, свечной фабрикант, столяр – все, что вам угодно, – сказал пуританин Людвиг Роллер, рослый молодой человек с черными, гладко зачесанными волосами, обрамлявшими бледное, угрюмое лицо. – Вот уже пять минут, как я не свожу глаз с этого молодчика, и готов держать пари на любых условиях, что он недавно поступил на службу.

– Значит, он не июльский герой и не свечной фабрикант, – с живостью возразила госпожа д'Окенкур, – потому что после Славных дней прошло уже три года и у него было достаточно времени набраться апломба. Это, должно быть, сын какого-нибудь благонамеренного толстяка, мало чем отличающегося от клики господина де Виллеля¹⁹, и возможно даже, что он научился грамоте и умеет держаться в гостинной ничуть не хуже других.

– У него вид не совсем заурядный, – заметила госпожа де Коммерси.

– Но он не так уверенно сидит в седле, как вам это кажется, сударыня, – возразил задетый за живое Людвиг Роллер. – Он держится слишком напряженно и манерно; достаточно его коню чуть-чуть оступиться – и он полетит на землю.

– Это было бы второй раз за один день! – воскликнул господин де Санреаль с торжествующим видом глупца, не избалованного вниманием слушателей и собирающегося рассказать что-то интересное.

¹⁸ Это говорят ультрароялисты. Кто мог бы взять под сомнение безукоризненную честность, которой руководствуются при заключении договоров на поставки? – *Примеч. автора.*

¹⁹ Жан-Батист Серафен, граф де Виллель (1773–1854) – французский государственный деятель эпохи Реставрации.

Господин де Санреаль был самым богатым и самым толстым из всех местных дворян. Ему выпало редкое для него удовольствие видеть, как глаза всех присутствующих повернулись в его сторону, и он долго наслаждался этим, прежде чем решился внятно рассказать историю падения Люсьена. Так как своими потугами на остроумие он сильно запутал повествование о столь интересном случае, ему стали задавать вопросы, и он, к великой своей радости, принялся вторично излагать происшествие, однако все время старался выставить героя в более смешном свете, чем это было на самом деле.

– Можете говорить, что вам угодно, – воскликнула госпожа де Сов д’Окенкур, когда Люсьен в третий раз проезжал под окнами ее особняка, – но это очаровательный юноша, и если бы я не зависела от мужа, я пригласила бы его на чашку кофе хотя бы для того, чтобы доставить вам неприятность!

Господин д’Окенкур принял ее слова всерьез; его кроткое и почтительное лицо побледнело от испуга.

– Как, дорогая моя, неизвестного человека? Человека без роду и племени, может быть, рабочего? – умоляюще обратился он к своей прекрасной половине.

– Хорошо, отказываюсь от него ради вас, – прибавила она насмешливо, и господин д’Окенкур нежно пожал ей руку. – А вы, человек могучего телосложения и сведущий, – обернулась она к Санреально, – от кого вы узнали эту клевету о падении бедного юноши, такого худенького и такого красивого?

– Не от кого иного, как от доктора Дю Пуарье, – ответил Санреаль, сильно задетый насмешкой над его полнотой, – от доктора Дю Пуарье, который находился у госпожи де Шастеле как раз в ту минуту, когда этот герой вашего воображения шлепнулся наземь, как дурак.

– Герой он или нет, но этот молодой офицер уже имеет завистников – начало недурное; я, во всяком случае, предпочла бы, чтобы мне завидовали, нежели завидовать самой. Его ли вина, что он не похож на Вакха, возвращающегося из Индии, или на его спутников? Подождите, пока он станет старше на двадцать лет; тогда он подомнет под себя любого противника. Больше я вас не слушаю, – сказала госпожа д’Окенкур, направляясь в другой конец гостиной и открывая там окно.

Стук распахнувшейся рамы заставил Люсьена повернуть голову, а у Лары вызвал неожиданный приступ резвости, задержавший коня и седока на одну-две минуты перед взорами этой благожелательной компании. И когда Люсьен уже почти проехал мимо открывшегося окна, Лара стремительно подался назад, по-видимому вопреки желанию всадника.

«Это не та молодая дама, что была утром», – подумал он с легким разочарованием и, сдержав сильно возбужденную лошадь, удалился медленным шагом.

– Фат! – промолвил Людвиг Роллер, с гневом отходя от окна. – Это, должно быть, какой-нибудь конюх из труппы Франкони²⁰, преобразенный июльскими днями в героя.

– Действительно ли на нем мундир Двадцать седьмого полка? – с видом знатока спросил Санреаль. – У Двадцать седьмого другие выпушки.

Это интересное и веское замечание дало повод заговорить всем сразу. Обсуждение вопроса о выпушках заняло добрых полчаса. Каждый из этих господ пожелал обнаружить свою осведомленность в той области военной науки, которая вплотную смыкается с портняжным искусством и когда-то доставляла немало радости одному великому королю, нашему современнику.

От выпушек перешли к монархическому принципу, и женщины уже начали скучать, когда подоспел, весь запыхавшись, исчезнувший на короткое время господин де Санреаль.

– У меня новости! – крикнул он с порога, едва переводя дыхание.

²⁰ Франкони – семья знаменитых цирковых наездников, содержавшая в течение многих лет цирк в Париже.

Тотчас же монархический принцип был самым жалким образом забыт. Но Санреаль внезапно онемел: в глазах у госпожи д'Окенкур он уловил любопытство, и из него пришлось, так сказать, вытягивать слово за словом его историю. Конюх префекта служил раньше лакеем у Санреалья, и пылкая любовь к исторической правде привела благородного маркиза в конюшню префектуры. Там его бывший слуга сообщил ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших сделку. Но случайно во время разговора маркиз узнал от своего собеседника, что, судя по всем данным, овес должен подняться в цене, ибо помощник префекта, ведающий справочными ценами, распорядился немедленно сделать запас для конюшни префекта; и сам он, богатый землевладелец, заявил, что больше не будет продавать овес. Эта новость придала мыслям благородного маркиза совершенно иное направление; он был признателен самому себе за то, что пошел в префектуру; он напоминал собой актера, который, исполняя на сцене роль, узнает, что горит его собственный дом. У Санреалья был овес, предназначенный к продаже, а в провинции малейший денежный интерес сразу затмевает всякий другой: забывают о самом увлекательном разговоре, оставляют без внимания скандальнейшее происшествие. Возвратившись в особняк д'Окенкуров, Санреаль был глубоко озабочен тем, чтобы не проронить ни слова насчет овса: это было необходимо потому, что в гостиной сидело несколько богатых землевладельцев, которые могли бы *извлечь из этого выгоду* и продать овес раньше, чем продаст он.

В то время как Люсьену выпала честь сделаться предметом общей зависти лучших представителей нансийской знати – ибо стало известным, что лошадь приобретена за полтораста луидоров, – сам он, удрученный убогим видом города, уныло сдавал Лару в конюшне префектуры, пользоваться которою в течение нескольких дней ему разрешил господин Флерон.

На следующий день перед полком в полном сборе полковник Малер де Сен-Мегрен представил Люсьена в качестве корнета.

После парада Люсьен, будучи дежурным, обошел казармы; не успел он вернуться домой, как тридцать шесть трубачей, расположившись под его окнами, приветствовали его тушем. Он с честью выпутался из всех этих церемоний, не столь занимательных, сколь необходимых.

Он был невозмутимо холоден, однако недостаточно; несколько раз, помимо его воли, в углу рта у него появлялась легкая усмешка, не оставшаяся незамеченной. Так было, например, когда полковник Малер, обняв его перед выстроенным во фронт полком, неловко осадил своего коня и тот подался немного в сторону от коня Люсьена; но Лара, восхитительно повинуясь легкому движению повода и шенкеля седока, плавно последовал за несвоевременно отступившей лошадию полковника. Так как на командира полка смотрели с еще большей завистью, чем на франта, приезжающего из Парижа готовым корнетом, этот ловкий маневр не ускользнул от взоров улан и доставил много чести нашему герою.

– А еще говорят, что английские лошади тугоузды! – сказал вахмистр Лароз, тот самый, который накануне вступился за Люсьена, когда молодой человек упал на землю. – Они тугоузды для тех, кто не умеет держать повод. Этот желторотый юнец, во всяком случае, хорошо сидит в седле. Видно, что он подготовился, прежде чем вступить в полк, – с важностью прибавил он.

Уважение к 27-му уланскому, сквозившее в этих словах, приятно пощекотало самолюбие соседей вахмистра.

Однако, выравнивая своего коня с конем полковника, Люсьен, сам того не чувствуя, усмехнулся краешком губ. *«Проклятый республиканец, я тебе это еще припомню!»* – решил про себя полковник, и с той минуты у Люсьена оказался враг, имевший возможность благодаря своему служебному положению причинить ему много зла.

Когда наконец Люсьен избавился от поздравлений офицеров, от дежурства по казарме, от тридцати шести трубачей и т. д., он почувствовал, что ему невероятно грустно; надо всем всплывала только одна мысль: «Все это довольно пошло. Они говорят о войне, о неприятеле, о героизме, о чести, а неприятеля вот уж двадцать лет нет и в помине. И мой отец утверждает,

что скупой парламент никогда не решится отпустить деньги на мало-мальски серьезную войну. На что же мы годимся? Только на то, чтобы проявлять рвение, словно продажные депутаты!»

Придя к этому глубокомысленному заключению, Люсьен, окончательно потерявший всякую бодрость, собирался прилечь на диван провинциальной работы, но под тяжестью его тела одна из ручек дивана обломилась; он вскочил в ярости и разнес вдребезги старую рухлядь.

Не лучше ли было сходить с ума от счастья, как это случилось бы в положении Люсьена с молодым провинциалом, воспитание которого не стоило ста тысяч франков? Значит, существует ложная цивилизация? Значит, мы еще не достигли высшей ступени цивилизации? А между тем мы с утра до вечера изоощряемся в остроумии над бесконечными неприятностями, сопутствующими ее успехам!

Глава шестая

На следующий день утром Люсьен снял на центральной площади квартиру у господина Бонара, торговца зерном, а вечером узнал от господина Бонара, которому об этом сообщила маркитантка, поставляющая водку к столу унтер-офицеров, что подполковник Филото открыто выступил в качестве покровителя Люсьена, защитив его от не совсем благожелательных намеков полковника Малера де Сен-Мегрена.

Люсьеном овладело сильнейшее раздражение. Этому содействовало все: и безобразие города, и грязные кафе, заполненные офицерами, носившими такой же мундир, что и он; и то, что среди стольких лиц он не увидел ни одного, на котором лежала бы печать даже не благожелательности, но хотя бы той простой вежливости, какая в Париже встречается на каждом шагу. Он зашел навестить господина Филото, но это уже был не тот человек, с которым он вместе путешествовал. Филото защитил его и, чтобы дать Люсьену почувствовать это, принял по отношению к нему важный и грубо покровительственный тон, еще усиливший дурное настроение нашего героя.

«И все это для того, чтобы *зарабатывать* девяносто девять франков в месяц! — думал он. — Что же должны были вытерпеть люди, обладающие миллионами? Как! — с яростью возвращался Люсьен к той же мысли. — Пользоваться покровительством! И чьим! Человека, которого я не взял бы себе в лакеи!» — Несчастье склонно преувеличивать.

Будь его хозяин достойным парижанином, они не обменялись бы и десятью словами за целый год при той суровости, едкости и несговорчивости, какими в эту минуту отличался Люсьен. Но толстый господин Бонар имел лишь одну слабость — любовь к деньгам, вообще же был общителен, услужлив, уступчив, поскольку речь не шла о том, чтобы зарабатывать четыре су на мерке зерна. Господин Бонар занимался торговлей зерном. Он распорядился обставить комнату нового постояльца подходящей мебелью, и не прошло двух часов, как оба они с большим удовольствием беседовали друг с другом.

Господин Бонар посоветовал Люсьену отправиться к госпоже Бершю и сделать себе запас крепких напитков. Без почтенного торговца зерном Люсьену никогда не пришла бы в голову простейшая мысль, что корнет, слывающий богачом и только что вступивший в полк, должен иметь возможность блеснуть своим запасом крепких напитков.

— Это, сударь, госпожа Бершю, у которой такая красивая дочь, мадемуазель Сильвиана; у нее постоянно покупал полковник де Бюзан. Это та самая нарядная лавка, рядом с кафе; торгуясь, найдите какой-нибудь предлог, чтобы поговорить с мадемуазель Сильвианой. Это наша мещанская красавица, — прибавил он серьезным тоном, плохо вязавшимся с его толстой физиономией. — Оставив в стороне порядочность, которой она отличается и которой нет у других, она легко может выдержать сравнение с госпожами д'Окенкур, де Шастеле, де Пюи-Лоранс, и т. д., и т. д.

Славный господин Бонар приходился дядей господину Готье, главарю местных республиканцев; не будь этого, он никогда не позволил бы себе углубиться в столь опасные размышления. Но юные редакторы «*Aurore*», американской газеты, издаваемой в Лотарингии, часто заходили к нему поболтать за стаканом пунша и убеждали его, что он должен считать себя оскорбленным некоторыми действиями знатных землевладельцев, продававших ему свой хлеб. Хотя эти молодые люди объявляли себя строгими республиканцами и считали себя толковыми, они в глубине души сокрушались, видя, что отделены непроницаемой стеной от знатных молодых женщин, красотой и прелестью которых они могли любоваться только на улице или в церкви. Они мстили тем, что подхватывали все сплетни, выставлявшие в неблагоприятном свете добродетель этих дам, но единственным источником злословия была в данном случае

только домашняя прислуга, потому что в провинции иной связи, хотя бы косвенной, между враждующими классами уже не существует.

Но возвратимся к нашему герою. Просвещенный господином Бонаром, он снова нацепил на себя саблю, надел кивер и отправился к госпоже Бершю. Он купил ящик киршвассера, затем ящик коньяка, затем ящик рома, помеченный 1810 годом, сделав все это с небрежной гримасой, с подчеркнутым безразличием к цене и с видом превосходства, имевшим целью поразить воображение мадемуазель Сильвианы. Он с удовольствием убедился, что эти замашки, достойные водевильного полковника, произвели желаемое впечатление. Добродетельная Сильвиана Бершю поспешила в лавку; она увидела в *васисдас*²¹, устроенный в полу комнаты, расположенной над торговым помещением, что покупатель, из-за которого перевернули вверх дном всю лавку, был не кто иной, как молодой офицер, который накануне гарцевал на Ларе, пресловутой лошади господина префекта. Эта первая красавица среди мещанок Нанси соблаговолила выслушать несколько учтивых слов, с которыми к ней обратился Люсьен. «Она в самом деле хороша, – подумал он, – но не в моем вкусе. Это статуя Юоны, скопированная с античного образца современным художником; ей не хватает тонкости и изящества линий, формы слишком массивны, но в ней есть немецкая свежесть. Большие руки, большие ступни, очень правильные черты лица и бездна жеманства, под которым легко угадывается еле замаскированное высокомерие. И эти люди еще возмущаются высокомерием светских женщин!» Люсьену бросилась в глаза ее исполненная какого-то вульгарного благородства манера откидывать голову назад движением, очевидно имевшим целью напомнить о приданом в двадцать тысяч экю. Подумав о скуке, ожидавшей его дома, Люсьен затянул свое пребывание в лавке. Сильвиана с торжеством подметила это и снисходительно предложила его вниманию несколько достаточно искусно закругленных фраз, выражавших ходячие истины насчет господ офицеров и опасностей, таящихся в их любезности. Люсьен ответил, что опасность обоюдная, что в данный момент он это чувствует, и т. д., и т. д. «Должно быть, девица заучила все это наизусть, – решил он, – ибо, как ни заурядны эти прекрасные фразы, они выделяются на фоне ее обычной речи».

Таково было восхищение, которое внушила ему мадемуазель Сильвиана, нансийская красавица, и, когда он вышел из лавки, городок показался ему еще более мрачным. В задумчивости шел он за тремя ящиками со «спиртным», по выражению мадемуазель Сильвианы. «Теперь надо найти лишь подходящий повод, – подумал он, – чтобы отослать один или два ящика подполковнику Филото».

Вечер был томителен для молодого человека, вступившего на самое блестящее и самое веселое поприще на свете. Его лакею Обри, уже много лет служившему в доме его отца, вздумалось корчить из себя педанта и давать ему, Люсьену, советы. Люсьен объявил слуге, что завтра утром отправляет его в Париж, и поручил ему отвезти госпоже Левен ящик сливового варенья.

Покончив с этим, Люсьен вышел из дому. Погода была пасмурная, с севера дул холодный, пронизывающий ветер. На Люсьене был парадный мундир; он не мог снять его, так как был дежурным по казармам, и, кроме того, перечислив множество его обязанностей, ему сказали, что без особого разрешения полковника он не должен и мечтать о штатском сюртуке. Ему только и оставалось, что прогуливаться пешком по грязным улицам укрепленного города и слышать через каждые двести шагов дерзкий оклик: «Кто идет?» Он курил сигару за сигарой; после двух часов такого приятного времяпрепровождения он принялся отыскивать книжную лавку, но не мог найти. В одном лишь окне увидел он книги и поспешил войти в лавку: это оказались «Дни христианина», выставленные на продажу у торговца сыром, у городских ворот.

²¹ *Васисдас* – окно в магазине, предназначенное для продаж.

Он прошел мимо нескольких кафе; стекла всюду запотели от дыхания множества людей; он не решился войти ни в одно из этих заведений: он представлял себе, как невыносимо там пахло. Услышав доносившийся оттуда смех, Люсьен впервые в жизни почувствовал зависть.

В этот вечер он основательно призадумался над различиями в формах управления государством, над преимуществами, к которым следовало бы в жизни стремиться, и т. д., и т. д. «Будь здесь какой-нибудь театр, я попробовал бы поухаживать за одной из певичек. Я нашел бы, вероятно, ее приветливость менее тяжеловесной, чем у мадемуазель Сильвианы, и уж по крайней мере она не помышляла бы выйти за меня замуж».

Никогда еще будущее не рисовалось ему в столь мрачном свете. Всякая возможность менее печальных перспектив отпадала для него, поскольку он не мог справиться с неотвязной мыслью: «Так проведу я год или два, и как бы я ни старался, я все время буду делать то же, что делаю теперь».

Несколько дней спустя, по окончании занятий, подполковник Филото, проходя мимо квартиры нашего героя, увидел на пороге дома Никола Фламе, улана, которого он прикомандировал к Люсьену для ухода за его конем. (Простой солдат ходит за его английской лошастью! Люсьен раз десять на дню должен был заглядывать в конюшню.)

– Ну, что ты скажешь о корнете?

– Славный малый, господин полковник, очень щедр, но что-то невесел.

Филото поднялся наверх.

– Я пришел осмотреть ваше жилище, дорогой товарищ; ведь я вам *дядька*, как говорили в Бершине, когда я служил там бригадиром, – это было еще до Египта, потому что в вахмистры я был произведен только в Абукире, при Мюрате, а в корнеты – две недели спустя.

Однако все эти подробности героической эпопеи Люсьен пропустил мимо ушей; он вздрогнул при слове «дядька», но тотчас взял себя в руки.

– Ну что же, дорогой дядюшка, – весело ответил он, – весьма польщен таким родством. Есть у меня тут три почтенных родственника, которых хочу иметь честь вам представить. Речь идет об этих трех ящиках: первый – *«Вдова Киригассер из Шварцвальда»*...

– Беру ее, – громко расхохотавшись, объявил Филото и, подойдя к раскрытому ящику, взял оттуда бутылку.

«Мне не пришлось ломать себе голову, подыскивая благовидный предлог», – подумал Люсьен.

– Но, полковник, эта почтенная родственница поклялась никогда не расставаться со своим братом, носящим имя *«Коньяк тысяча восемьсот десятого года»*. Понимаете?

– Черт возьми, я не знаю человека остроумнее вас. Вы в самом деле славный малый, – воскликнул Филото, – и я должен быть признателен нашему приятелю Девельруа за то, что он меня познакомил с вами.

Это не было простою скупостью у нашего достойного подполковника, но он никогда не подумал бы раскошелиться на два ящика спиртных напитков и был в восторге, что они точно с неба свалились к нему. Отведывая поочередно киршвассер и коньяк, он долго сравнивал их между собою и пришел в умиление.

– Но поговорим о деле: я ведь явился сюда именно для этого, – сказал он с таинственно-многозначительным видом, грузно опускаясь на диван. – Вы швыряетесь деньгами. Купить трех лошадей на протяжении трех дней – я не осуждаю вас: прекрасно, прекрасно, отлично! Но что скажут ваши сослуживцы, у которых только одна лошадь, да и то нередко трехногая? – прибавил он, громко расхохотавшись. – Знаете, что они скажут? Они объявят вас республиканцем. В этом наше уязвимое место, – хитро заметил он. – А знаете, чем вы должны ответить? Красивым портретом Людовика-Филиппа верхом на коне, в богатой золотой раме, который вы повесите здесь, над комодом, на почетном месте; а теперь всего лучшего, честь имею.

Он не без труда поднялся с дивана.

– Человек умный понимает с полуслова, а вы мне не кажется слишком непонятливым; честь имею.

Это было обычным приветствием полковника.

– Никола! Никола! Позови-ка кого-нибудь из этих штафинок, слоняющихся без дела на улице, и присмотри за тем, чтобы он снес ко мне домой, знаешь, на Мецскую улицу, дом номер четыре, эти два ящика – только, черт возьми, не вздумай докладывать мне, что по дороге одна бутылка разбилась. Без этих штук, приятель!

– Но, думается мне, – сказал Филото Люсьену, – добро все же следует поберечь! Как бы одна из бутылок не разбилась. Пойду-ка я за ними шагах в двадцати, не подавая вида. Прощайте, дорогой товарищ! – И рукой, затянутой в перчатку, он показал на место над комодом: – Вы поняли меня? Хороший портрет Людовика-Филиппа.

Люсьен думал, что он уже избавился от него, но Филото снова появился в дверях.

– Да, вот еще! Никаких зловредных книжонок в ваших чемоданах, никаких дурных газет или брошюр, в особенности ничего из *дурной прессы*, как говорит Маркен.

С этими словами Филото сделал четыре шага от порога и присовокупил вполголоса:

– Этот высокий рябой поручик Маркен, который прибыл к нам из Парижа, – он приставил руку ребром к углу рта, – его побаивается сам полковник. Словом, хватит. Не попусту же всем даны уши, как по-вашему?

«В сущности, он хороший человек, – решил Люсьен. – Как и мадемуазель Сильвиана Бершю, он нравился бы мне, если бы меня не тошнило от него. Мой ящик киршвассера принес мне большую пользу». И он вышел из дому, чтобы приобрести портрет Людовика-Филиппа, самый большой, какой найдется.

Через четверть часа Люсьен возвратился в сопровождении рабочего, несшего огромный портрет, который наш герой нашел уже вставленным в раму, по заказу полицейского комиссара, только что назначенного на эту должность благодаря господину Флерону. Люсьен задумчиво смотрел, как вколачивали гвоздь и вешали портрет на стену.

«Отец часто говаривал мне, и теперь я понимаю его мудрые слова: *„Ты кажешься совсем не парижанином по рождению среди этих людей, изворотливый ум которых никогда не возвышается над уровнем полезных для них целей. Ты считаешь всех и вся крупнее, чем это есть на самом деле, и превращаешь в героев, положительных или отрицательных, всех своих собеседников. Ты слишком высоко расставляешь свои сети, как сказал Фукидид о беотийцах“*». И Люсьен повторил цитату на греческом языке, которого я не знаю.

«Парижская публика, – прибавлял мой отец, – услышав о чем-либо низком или предательском поступке, на котором кто-то нагрел руки, восклицает: „Браво, это ход, достойный Талейрана!“ – и искренне восхищается.

Я предполагал, что мне придется предпринять ряд осторожных, остроумных и трудных мер, чтобы удалить со своей репутации налет республиканства и роковое клеймо: *„Ученик, исключенный из Политехнической школы“*. Пятифранковая литография и рама стоимостью в пятьдесят четыре франка разрешили весь вопрос – вот что нужно этим людям! Филото смыслит в этом деле больше меня. В этом-то и состоит подлинное превосходство гениального человека над толпою: он вместо ряда мелких шагов совершает одно только действие – ясное, простое, поражающее всех и служащее ответом на все вопросы. Я сильно опасаюсь, – прибавил Люсьен со вздохом, – что очень не скоро стану подполковником» и т. д.

К счастью для Люсьена, который в эту минуту склонен был поставить себя ниже всех, на углу его улицы заиграла труба, и ему пришлось поспешить в казарму, где страх получить резкое замечание от начальства заставлял его внимательно относиться к своим обязанностям.

Вечером, когда он вернулся домой, служанка господина Бонара вручила ему два письма. Одно было написано на простой школьной бумаге и грубо запечатано. Люсьен разорвал конверт и прочел:

Нанси, департамент Мерты... марта 183 г.*

Господин корнет Молокосос!

Храбрые уланы, прославившиеся в двадцати сражениях, созданы не для того, чтобы ими командовал парижский франтик; жди всяких бед; ты всюду встретишь Мартына с дубинкой; складывай поскорей свои позитки и убирайся подобра-поздорову! Советуем тебе это в твоих же интересах. Трепещи!

Следовали три подписи с росчерками:

Шасбоде, Дюрелам, Фумуалекан.

Люсьен покраснел как рак и задрожал от гнева; тем не менее он распечатал второе письмо. «Должно быть, женское», – подумал он. Оно было на прекрасной бумаге и написано весьма тщательным почерком.

Милостивый государь,

посочувствуйте порядочным людям, краснеющим от того, что они должны прибегать к такому способу обмена мыслей. Не для великодушного сердца имена наши должны оставаться тайной, но полк кишмя кишит доносчиками и соглядатаями. Благородное ремесло воина превращено в школу шпионства! Так подтверждается истина, что крупное вероломство поневоле влечет за собой тысячу мелких подлостей. Предлагаем вам, милостивый государь, проверить путем собственных наблюдений следующий факт: не являются ли пять офицеров – лейтенанты и корнеты – господа Д., Р., Бл., В. и Би... весьма изящные молодые люди, принадлежащие, по-видимому, к избранному кругу общества (это заставляет нас опасаться, что они могут вас пленить), – шпионами, выслеживающими людей с республиканскими убеждениями? В глубине души мы исповедуем эти священные убеждения, в один прекрасный день мы прольем за них нашу кровь и смеем верить, что вы готовы в свое время и в надлежащем месте принести ту же жертву. Когда наступит великий день пробуждения, положитесь, сударь, на друзей, которые чувствуют себя равными вам только в силу глубокой жалости к несчастной Франции.

Марций, Публий Юлий, Марк. За всех этих господ – Vindex²², который убьет Маркена.

Письмо это почти целиком уничтожило впечатление *гнусности и мерзости*, вызванное первым посланием. «Брань на дрянной бумаге, – сказал себе Люсьен, – это анонимное письмо 1780 года, когда в солдаты вербовали на набережных Парижа всяких мошенников и выгнанных лакеев; это тоже анонимное письмо, только датированное 183* годом.

Публий! Vindex! Бедные друзья! Вы были бы правы, если бы вас было сто тысяч; но вас всего две тысячи человек, быть может рассеянных по всей Франции, и Филото, Малеры, даже Девельруа прикажут на законном основании расстрелять вас, если вы сбросите с себя маску, и их поддержит подавляющее большинство».

Все, что испытал Люсьен со дня приезда в Нанси, было до того мрачно, что за неимением лучшего он занялся этим республиканским посланием. «Было бы лучше, если бы они все

²² Мститель (лат.).

уехали в Америку... Но поехал бы я с ними?» Над этим взволновавшим его вопросом Люсьен надолго задумался.

«Нет, – решил он наконец, – к чему обольщать себя надеждой? Пусть тешится этим глупец. Во мне слишком мало суровой доблести, чтобы разделять образ мыслей Vindex'a. Мне стало бы скучно в Америке, среди людей, может быть безукоризненно справедливых и рассудительных, но грубых и думающих только о долларах. Они вели бы со мной беседы о десяти коровах, которые ближайшей весной должны принести им десять телят, а я предпочитаю говорить о красноречии господина Ламенне²³ или о таланте госпожи Малибран²⁴ и сравнивать последний с талантом госпожи Паста²⁵. Я не могу жить с людьми, не способными мыслить утонченно, как бы они ни были добродетельны. Я сто раз отдал бы предпочтение изысканным нравам какого-нибудь развращенного двора. Вашингтон наскучил бы мне смертельно, но я с большим удовольствием очутился бы в одной гостиной с господином Талейраном. Значит, чувство уважения к самому себе для меня еще не все; я испытываю потребность в развлечениях, возможных только при наличии старой цивилизации.

Но в таком случае, несчастный, мирись с развращенностью правительств, продуктом этой старой цивилизации; только глупец или ребенок может одновременно питать противоположные желания. Мне внушает отвращение скучный здравый смысл американцев. Рассказы о жизни молодого генерала Бонапарта, победителя в битве на Аркольском мосту, вызывают во мне восторг: для меня это Гомер, Тассо и даже в сто раз больше. Американские добрые нравы представляются мне омерзительной пошлостью, и, читая сочинения их выдающихся людей, я испытываю только одно желание: никогда не встречаться с ними в свете. Эта образцовая страна кажется мне торжеством глупой и себялюбивой посредственности, перед которой под страхом гибели надо низкопоклонничать. Будь я крестьянин с капиталом в четыреста луидоров и пятью детьми, несомненно, я приобрел бы и стал возделывать каких-нибудь двести арпанов земли в окрестностях Цинциннати. Но что общего между этим крестьянином и мною? Умел ли я до сих пор заработать стоимость одной сигары?

Эти славные унтер-офицеры не пришли бы в восторг от игры госпожи Паста, им не доставила бы удовольствия беседа с господином Талейраном – они больше всего хотят стать ротмистрами. Они воображают, что в этом счастье. Действительно, если бы речь шла лишь о том, чтобы послужить родине, они, пожалуй, на этих местах оказались бы во сто крат достойнее, чем те, кто их занимает: ведь есть немало людей, получивших чин тем же путем, что и я. Они, эти унтер-офицеры, полагают, и не без основания, что республика сделала бы их ротмистрами, и чувствуют, что способны оправдать повышение геройскими поступками. А я, хочу ли я быть ротмистром? Говоря правду, нет.

Значит, я не республиканец; но мне внушает отвращение подлость Малеров и Маркенов. Что же я собою представляю? Не бог ведь что, по-видимому. Девельруа сумел бы бросить мне в лицо: „Ты человек, счастливый тем, что получил от отца аккредитив на имя главного сборщика налогов департамента Мерты“. Бесспорно, с точки зрения экономической, я стою ниже моих слуг; я чудовищно страдаю с тех пор, как зарабатываю девяносто девять франков в месяц.

Но кого же уважают в свете, с которым я начал знакомиться? Человека, сколотившего капитал в несколько миллионов или купившего газету для того, чтобы его восхваляли в ней восемь или десять лет подряд (не в этом ли заслуга господина де Шатобриана?). Не в том ли заключается высшее счастье обладателя крупного состояния, вроде меня, чтобы прослыть

²³ *Фелисите Робер де Ламенне* (1782–1854) – французский богослов и писатель.

²⁴ *Мария Малибран* (1808–1836) – испанская певица, легенда мирового оперного искусства.

²⁵ *Джудитта Паста* (1797–1865) – итальянская певица.

человеком умным у женщин, одаренных умом? Значит, придется ухаживать за женщинами – мне, который с таким презрением относится к любви и в особенности к влюбленному мужчине!

Разве не начал господин де Талейран свою карьеру с того, что сумел удачным словом осадить надменную заносчивость герцогини де Граммон?

За исключением моих бедных, одержимых безумием республиканцев, я не вижу ничего такого на свете, к чему стоило бы относиться с уважением: все известные мне почтенные репутации в какой-то мере основаны на шарлатанстве. Республиканцы, быть может, люди помешанные, но по крайней мере не подлецы».

Дальше этого умозаключения Люсьен при всем желании пойти не мог.

Умный человек сказал бы ему: «Поживите немного больше, и все предстанет вам в ином свете. А пока удовлетворитесь – как это ни пошло – сознанием, что вы никому не причиняете вреда. В самом деле, вы слишком мало видели на своем веку, чтобы судить об этих важных вопросах. Подождите и не торопитесь».

Такого советника у Люсьена не было, и он, предоставленный самому себе, блуждал в области туманных догадок.

«Значит, моя репутация будет зависеть от суждения какой-то женщины или сотни женщин хорошего тона? Что может быть смешнее этого! С каким пренебрежением я относился к влюбленному мужчине, к моему кузену Эдгару, ставящему свое счастье и даже уважение к самому себе в зависимость от мнения молодой женщины, которая все утро провела у ***²⁶, обсуждая достоинства нового платья или насмехаясь над почтенным человеком, вроде Монжа²⁶, только потому, что у него заурядная внешность!

Но, с другой стороны, угождать простолюдинам, как это необходимо делать в Америке, свыше моих сил. Мне нужны изысканные нравы, плоды развращенного правления Людовика Пятнадцатого, а между тем, кто является наиболее примечательным человеком такой эпохи? Какой-нибудь герцог де Ришелье или Лозен²⁷, чьи мемуары дают картину жизни тогдашнего общества».

Мысли эти повергли Люсьена в чрезвычайное волнение. Дело шло о том, что он считал своей религией, дело шло о доблести и чести; а, согласно этой его религии, без доблести не было счастья. «Господи! С кем бы мне посоветоваться? Каково мое место с точки зрения действительной ценности человека? Нахожусь ли я в середине списка или в самом конце его?.. А Филото, несмотря на все мое презрение к нему, занимает почетное место, он блестяще сражался в Египте и был награжден Наполеоном, который знал толк в воинской доблести. Что бы ни делал Филото теперь, это за ним останется; ничто не может отнять у него почетной репутации человека, получившего в Египте из рук Наполеона чин ротмистра».

Этот урок скромности, преподанный Люсьеном самому себе, был серьезен, основателен и отнюдь не легок. Люсьен был тщеславен, и тщеславие это постоянно находило себе пищу в его превосходном воспитании.

Через несколько дней после получения анонимных писем Люсьен, проходя по безлюдной улице, встретил двух унтер-офицеров, стройных, в плотно облегающих талию мундирах; оба были одеты очень тщательно и поклонились ему как-то особенно. Люсьен издали поглядел им вслед и вскоре увидел, что они возвращаются как бы нарочно. «Либо я сильно ошибаюсь, либо эти двое не кто иные, как Vindex и Юлий; они из чувства чести вернулись сюда, словно для того, чтобы подписать таким образом свое анонимное письмо. Сегодня стыдно мне, и я хотел бы вывести их из заблуждения. Я уважаю их убеждения; их честолюбие – честолюбие

²⁶ Гаспар Монж (1746–1818) – французский математик.

²⁷ Герцог де Ришелье (1696–1788) – французский государственный деятель, типичный представитель галантной придворной культуры. Его «Мемуары» были напечатаны в 1869 году. Герцог Лозен (1747–1793) – французский генерал, командовавший революционными войсками. По его бумагам были составлены «Мемуары», изданные в 1822 году.

порядочных людей. Но я не могу предпочесть Франции Америку: деньги для меня еще не все, и демократия – вещь слишком суровая для человека моих вкусов и образа мыслей».

Глава седьмая

Эти размышления о республике на несколько недель отравили существование Люсьену.

Тщеславие, горький плод светского воспитания, было его палачом. Юный, богатый, по внешним данным счастливый, он предавался удовольствиям без всякой пылкости: его можно было принять за молодого протестанта. Лишь в редких случаях он вел себя непринужденно; он считал, что ему необходимо относиться к окружающему с большой осторожностью. «Если ты станешь кидаться на шею женщине, она никогда не будет тебя уважать», – сказал ему как-то отец. Словом, открытая жизнь на людях, доставляющая так мало удовольствия в девятнадцатом веке, внушала ему опасения на каждом шагу. Как большинством его современников, завсегдатаев балкона в театре «Буфф», ребяческое тщеславие, постоянная невероятная боязнь погрешить против тысячи мелких условностей, созданных нашей цивилизацией, владели и им, придя на смену пылким стремлениям, обуревавшим сердце юного француза при Карле IX. Он был единственным сыном богача, а обычно требуется немало времени, чтобы загладить этот недостаток, вызывающий зависть у большинства людей.

Надо сознаться, тщеславие Люсьена было основательно задето; по роду своей деятельности он был вынужден проводить ежедневно восемь или десять часов в обществе людей, более его знакомых с единственным предметом, о котором он позволял себе беседовать с ними. Каждую минуту сослуживцы Люсьена давали ему чувствовать свое превосходство над ним с учтивой язвительностью самолюбия, поглощенного мезьей. Эти господа были разъярены, так как догадывались, что Люсьен считает их глупцами. Надо было видеть, с какой надменностью они поглядывали на него, когда он ошибался насчет законом установленных сроков носки штанов конюха или форменной фуражки!

Люсьен оставался невозмутимо спокойным среди оживленной жестикуляции и вежливо-иронических улыбок; он считал своих товарищей злыми людьми; он недостаточно ясно отдавал себе отчет в том, что их поведение было лишь мелкой мезьей за то швыряние деньгами, которое он себе позволял. «В конце концов, – убеждал он себя, – эти господа могут повредить мне лишь в том случае, если я буду слишком много говорить или действовать; воздерживаться – отныне мой *пароль*; действовать возможно меньше – *план кампании*». Люсьен не без напыщенности пользовался этими терминами своей новой профессии; не пускаясь ни с кем в откровенные разговоры, он поневоле смеялся, обращаясь к самому себе.

В течение тех восьми или десяти часов, которые ежедневно отнимали у него обязанности человека, зарабатывающего девятью девятью франков в месяц, он не имел возможности говорить о чем-либо другом, кроме учения, полковой отчетности, цен на лошадей, причем главный вопрос состоял в том, следует ли кавалерийским частям непосредственно закупать лошадей у заводчиков или выгоднее, чтобы их закупала сама казна и первое время обучала их на ремонтных заводах. При втором способе пополнения конского запаса лошадь обходилась в девятьсот два франка, но зато много их околевало, и т. д.

Подполковник Филото прикомандировал к нему старого лейтенанта, офицера ордена Почетного легиона, для обучения высшим ступеням военной науки; но этот славный малый считал своим долгом заняться разглагольствованиями, и какими разглагольствованиями! Люсьен, у которого не хватало духу отказаться от его услуг, принялся читать вместе с ним сносительное сочинение, озаглавленное «Победы и завоевания французов». Вскоре, однако, господин Готье указал ему превосходные мемуары маршала Гувьона Сен-Сира. Люсьен выбирал в них повествования о сражениях, в которых участвовал отважный лейтенант, и тот рассказывал ему обо всем, чему был очевидцем, умиляясь тем, что в книгах напечатано про события, происходившие в дни его молодости. Повествуя об этом героическом времени, старый лейтенант бывал иногда бесподобен; в ту пору не было совсем лицемеров! Этот простой крестьянин

был особенно восхитителен, когда описывал место боя и тысячу мелких подробностей, о которых человек нашего склада и не вспомнил бы, но которые в его устах и при его правдивости способны были довести Люсьена до безумного восторга, ибо он обожал армии республики. Лейтенант бывал очень забавен, когда в минуты откровенности рассказывал о потрясениях, вызванных непредвиденным повышением в чине, и т. п., и т. п.

Эти уроки, после которых глаза Люсьена горели особенным блеском, стали предметом насмешек его сослуживцев. Двадцатилетний мужчина добровольно садится на школьную скамью, мало того – поступает в учение к старому солдату, который и двух слов не может связать без ошибки! Но его искусная сдержанность и ледяная серьезность обескураживали шутников и избавили его от всяких прямых замечаний на этот счет.

Люсьен не видел ничего дурного в своем поведении; а между тем следует сознаться, что было бы трудно совершить больше неловкостей, чем он. Все было ошибкой – вплоть до выбора квартиры. Простой корнет снимает для себя квартиру подполковника! Ибо приходится повторить то, о чем говорили все решительно. До него помещение у славного господина Бонара снимал маркиз Тома де Бюзан де Сисиль, подполковник гусарского полка, на смену которому пришел 27-й уланский.

Люсьен ничего этого не замечал; более чем холодный прием, оказанный ему, он приписывал только тому, что дурно воспитанные люди всегда держатся в стороне от людей светских. Он оттолкнул бы от себя как грубую приманку всякое проявление благожелательности с их стороны; тем не менее затаенная, но единодушная злоба, которую он читал у всех в глазах, заставляла сжиматься его сердце. Прошу читателя не принимать его за круглого дурака: сердце его было еще слишком молодо. В Политехнической школе напряженный, неустанный труд, восторженное преклонение перед наукой, любовь к свободе, свойственное ранней юности благородство парализовали злые страсти и завистливые чувства. В полках, напротив, царит самая унылая праздность, ибо что делать там по истечении полугода, когда профессиональные обязанности уже не поглощают всего времени?

Четверо или пятеро офицеров, которые держали себя более вежливо и фамилии которых не значились в списке шпионов, сообщенном Люсьену анонимным письмом, могли бы внушить нашему герою некоторое желание сблизиться с ними; но они выказывали к нему еще большую неприязнь, чем другие, или, во всяком случае, подчеркивали это с большей резкостью; доброжелательство он читал лишь в глазах нескольких унтер-офицеров, которые всегда с поспешностью отдавали ему честь, делая это особенно выразительно, когда они встречали его на какой-нибудь глухой улице.

Кроме старого лейтенанта Жубера, подполковник Филото приставил к нему вахмистра, который должен был обучать его построениям взвода, эскадрона и полка.

– Вам придется платить старику, – сказал он Люсьену, – не меньше сорока франков в месяц.

И Люсьен, павший духом до такой степени, что готов был подружиться даже с господином Филото, который, что ни говори, был современником Дезе, Клебера, Мишо²⁸ и прекрасных дней Самбры-и-Мааса, узнал, что храбрый Филото, едва не возведенный им в герои, присваивал себе двадцать франков из сорока, выплачиваемых по его указанию вахмистру.

Люсьен заказал себе огромных размеров еловый стол; маленькие кусочки орехового дерева, наподобие домино, разложенные на этом столе, изображали кавалеристов. Под наблюдением вахмистра он ежедневно по два часа занимался передвижением деревянных солдатиков; это было едва ли не лучшее время на протяжении всего дня.

²⁸ Жан-Батист Клебер (1753–1800) и Клод Иньяс Франсуа Мишо (1751–1835) – французские генералы, участники Наполеоновских войн.

Мало-помалу этот образ жизни вошел в привычку. Все чувства юного корнета были тусклы, ничто не доставляло ему ни горя, ни радости; он не видел никакого выхода из положения и относился с глубоким отвращением к людям, а нередко и к самому себе. Он долгое время отказывался поехать в воскресенье за город пообедать там со своим хозяином, господином Бонаром, зерноторговцем. Однажды он согласился и вернулся в город в обществе господина Готье, который уже известен читателю как вожак республиканцев и главный редактор газеты «*Aurore*». Господин Готье был рослый молодой человек атлетического телосложения, с прекрасной белокурой, немного длинной шевелюрой; впрочем, это была единственная вольность, которую он допускал в своей наружности; полное отсутствие аффектации, чрезвычайная энергия во всем, что он делал, добросовестность, не вызывавшая никаких сомнений, страховали его от всякой вульгарности. Напротив, самая назойливая, самая плоская пошлость была отличительной чертой его товарищей. Это был честный фанатик, но сквозь его увлечение идеей *самоуправляющейся* Франции в нем можно было разглядеть прекрасную душу. В дороге Люсьену доставляло удовольствие сравнивать этого человека с господином Флероном, главарем противной партии. Господин Готье, не помышляя ни о каком воровстве, жил только на свое жалованье землемера кадастра. Что же касается его газеты «*Aurore*», она стоила ему пятисот-шестьсот франков ежегодно да, сверх того, не один месяц тюрьмы.

Через несколько дней человек этот стал в глазах Люсьена единственным исключением среди всего, что он видел в Нанси. На огромном, как у его дяди Бонара, туловище у Готье сидела талантливая голова. По временам он бывал подлинно красноречив – когда говорил о счастливом будущем Франции и о той блаженной поре, когда все служебные обязанности будут выполняться безвозмездно и наградой за это будет только почет.

Красноречие трогало Люсьена, но Готье никак не удавалось опровергнуть его главное возражение против республики: то, что при ней придется угождать всякой посредственности.

В итоге шестинедельного знакомства, перешедшего почти в близость, Люсьен случайно убедился, что Готье – первоклассный геометр; это открытие умилило его: какая разница по сравнению с Парижем! Люсьен страстно любил высшую математику. С этого момента он просиживал целые вечера с Готье, обсуждая либо идеи Фурье насчет теплоты земли, либо достоверность открытий Ампера, либо, наконец, основной вопрос: мешает ли привычка к анализу видеть обстоятельства, сопровождающие опыт, и т. д.

– Берегитесь, – говорил ему Готье, – я не только геометр, я, кроме того, еще республиканец и один из редакторов «*Aurore*». Если генерал Теранс или ваш полковник Малер де Сен-Мегрен узнают о наших беседах, они не сделают мне никаких новых неприятностей, ибо уже причинили мне все то зло, какое только могли, но вас они лишат офицерского чина или сошлют как преступника в Алжир.

– Право, это было бы, пожалуй, счастьем для меня, – отвечал Люсьен, – или, выражаясь с любезной нам обоим математической точностью, ничто не в силах усугубить тяжесть моей кары: по-моему, я, без преувеличения, дошел до последней степени скуки.

Готье отнюдь не лез за словом в карман, чтобы убедить его в преимуществах американской демократии; Люсьен давал ему наговориться досыта, а потом чистосердечно признавался:

– Вы в самом деле утешаете меня, дорогой друг. Теперь мне ясно, что, если бы я служил корнетом не в Нанси, а в Цинциннати или в Питсбурге, я скучал бы сильнее, а зрелище еще худшего несчастья, как вы знаете, едва ли не единственное доступное мне утешение. Чтобы зарабатывать девяносто девять франков в месяц и уважать самого себя, я покинул город, где мне жилось очень приятно.

– Кто вас заставил поступить таким образом?

– Я по собственной воле ринулся в этот ад.

– Что же? Бегите из него.

– Париж для меня теперь утратил свою привлекательность; вернувшись туда, я уже не буду тем, кем был, пока не напялил на себя этот зеленый мундир, – молодым человеком, подававшим кое-какие надежды. Меня признали бы теперь существом не способным ни на что, даже быть корнетом.

– Что вам до мнения окружающих, если все-таки вам там нравится жить?

– Увы! Я одержим тщеславием, которое вам, мой благоразумный друг, непонятно; мое положение было бы невыносимым: я не мог бы ответить как следует на некоторые шутки. Кроме войны, я не вижу способа выбраться из западни, в которую я по неведению сунулся сам.

Люсьен рискнул написать матери об этой исповеди и о своем новом друге, но просил прислать ему обратно его письмо; сын с матерью находились в самых откровенных, дружеских отношениях. Он писал ей: «Не скажу – мое несчастье, но мои *огорчения* удвоились бы, если бы я стал предметом насмешек со стороны отца и этих милых людей, отсутствие которых заставляет меня видеть все в черном свете».

К счастью для Люсьена, слухи о его близости с господином Готье, с которым он по вечерам встречался у господина Бонара, еще не дошли до полковника Малера. Но недоброжелательство командира уже не было тайной для полка. Быть может, этот храбрец даже мечтал о дуэли, которая избавила бы его от молодого республиканца, имевшего слишком сильных покровителей, чтобы с ним можно было *обойтись без всяких церемоний*.

Однажды утром полковник прислал за ним, но Люсьен был допущен в кабинет этого сановника лишь после того, как проторчал добрых три четверти часа в грязной передней среди двадцати пар сапог, которые чистили три улана. «Это сделано неспроста, – подумал он, – но единственный способ разрушить замысел противника – это притвориться, будто я ничего не заметил».

– Мне донесли, милостивый государь, – сказал полковник, поджав губы и обращаясь к Люсьену подчеркнуто педантским тоном, – что у вас дома роскошный стол; этого я допустить не могу. Богаты вы или нет, вы должны столоваться за сорок пять франков в офицерском собрании с господами лейтенантами, вашими однополчанами. Прощайте, сударь, мне не о чем больше с вами разговаривать.

Сердце Люсьена разрывалось от ярости; никто до сих пор не говорил с ним таким тоном. «Итак, даже во время принятия пищи я буду вынужден находиться в обществе любезных сослуживцев, для которых нет большего удовольствия, как уничтожить меня при встрече своим превосходством. Право, я мог бы сказать, как Бомарше: „Моя жизнь – сплошное сражение“. Что ж, – воскликнул он со смехом, – я снесу и это! И Девельруа отныне будет лишен приятной возможности повторять мне, что я дал себе труд только появиться на свет; я отвечу ему, что мне стоит некоторого труда и жить на свете». И Люсьен сразу же пошел и уплатил столовые деньги за месяц вперед; вечером он обедал в собрании и держался с замечательным хладнокровием и высокомерием. На следующий день в шесть часов утра к нему явился прапорщик из унтер-офицеров, которого считали доверенным лицом полковника, преданным ему душою и телом. Этот человек объявил ему благодушно:

– Без разрешения полковника господа лейтенанты и корнеты никогда не должны удаляться от гарнизона больше чем на две мили.

Люсьен не ответил ни слова. Прапорщик, задетый этим, принял надменный вид и предложил ему оставить у себя письменный перечень примет, которые на разных дорогах могли способствовать распознаванию пределов разрешенной зоны в две мили. Надо вам сказать, что отвратительная, бесплодная, сухая равнина, на которой гений Вобана расположил Нанси, сменяется сколько-нибудь живописными холмами лишь в трех лье от города. Люсьен отдал бы в эту минуту все, что угодно, за удовольствие вышвырнуть прапорщика в окно.

– Сударь, – спросил он с простоватым видом, – а когда господа корнеты садятся на лошадь, чтобы прогуляться, могут ли они ехать рысью или должны ехать только шагом?

– О вашем вопросе, милостивый государь, я доложу полковнику, – ответил, покраснев от гнева, прапорщик.

Четверть часа спустя вестовой, прискакав галопом, привез Люсьену записку:

*Корнет Левен подвергнут аресту на сутки за высмеивание приказа командира полка.
Малер де Сен-Мегрек.*

– Галилеянин, ты не победишь меня! – воскликнул Люсьен.

Этот досадный случай заставил его взять себя в руки. Нанси был ужасен, военная профессия лишь самым отдаленным образом напоминала Люсьену о Флерюсе и Маренго, но он настойчиво желал доказать отцу и Девельруа, что в состоянии перенести все неприятности.

В тот самый день, который Люсьен провел под арестом, старшим офицерам полка пришла в голову наивная мысль попытаться сделать визиты господам д’Окенкур, де Шастеле, де Пюи-Лоранс, де Марсильи, де Коммерси и т. д., к которым, как им было известно, являлись с визитами несколько офицеров 20-го гусарского полка. Мы не будем утруждать читателя изложением двадцати причин, по которым этот шаг следовало признать невероятной неловкостью, какой не допустил бы и самый недалекий юноша-парижанин.

Визит офицеров полка, за которым утвердилась репутация политической умеренности, был принят с дерзостью, бесконечно обрадовавшей нашего героя в его заключении. Подробности приема, по мнению Люсьена, делали честь остроумию этих дам.

Госпожи де Марсильи и де Коммерси, особы уже пожилые, при появлении посетителей в гостиной изобразили на своих лицах испуг, словно перед ними предстали деятели террора 1793 года. У госпожи де Пюи-Лоранс и д’Окенкур прием был оказан несколько иной, их прислуга, вероятно, получила приказание поглумиться над старшими офицерами 27-го полка, ибо когда они по окончании визита проходили через переднюю, их сопровождали громкие раскаты хохота. Редкие реплики, которые, преодолевая крайнее изумление, позволили себе госпожи д’Окенкур и де Пюи-Лоранс, были намеренно поданы таким образом, чтобы довести дерзость до той крайней точки, где она уже переходит в грубость и может набросить тень на светского человека, прибегнувшего к ней. У госпожи де Шастеле, где прислуга была вышколена лучше, чем в других домах, офицеров просто отказались принять.

– Что ж, полковник молча проглотил оскорбление, – сообщил Филото, который, когда уже стемнело и никто не мог проследить за ним, пришел навестить Люсьена и утешить его в постигшем его аресте. – Когда мы вышли от этой госпожи д’Окенкур, которая, глядя на нас, продолжала хохотать, полковник попробовал убедить нас, что нас приняли благожелательно и весело, без церемоний, по-приятельски... Черт возьми! Будь это в доброе старое время, когда мы прошли всю Францию от Майнца до Байонны, чтобы вторгнуться в Испанию, с каким треском мы разбили бы окна у такой дамочки! Проклятая старуха, графиня де Марсильи, которой, по-моему, не меньше девяноста лет, когда мы встали, собираясь уходить, предложила нам выпить вина, как предлагают каким-нибудь извозчикам.

По выходе с гауптвахты Люсьен узнал много других подробностей. Мы забыли упомянуть, что господин Бонар ввел его в пять-шесть зажиточных буржуазных домов. Он столкнулся там с той же постоянной натянутостью, что и у мадемуазель Сильвианы, и с теми же претензиями на простодушие. К своему великому огорчению, он заметил, что мужья-буржуа взаимно следят за женами, несомненно без всякого уговора, а единственно из зависти и злобы. У двух-трех из этих дам, изыскав их языком, были очень красивые глаза, и эти глаза удостоили Люсьена красноречивыми взглядами; но как устроить дело так, чтобы встретиться без свидетелей? Какая бездна притворства окружала их, да и в них самих сколько было притворства! Какие бесконечные партии в бостон надо было играть с их мужьями и, что хуже всего, какая неуверенность в успехе! Люсьен, не имея никакого опыта, подавленный всем этим, предпочи-

тал скучать один по вечерам, чем сражаться в бостон с господами мужьями, всегда норовившими посадить его спиной к самой красивой женщине, какая была в гостиной. Он по доброй воле ограничил себя ролью наблюдателя. Невежество этих бедных женщин невообразимо. Средства у мужей ограниченные; они читают газеты, которые выписывают в складчину, и их прекрасные половины никогда не видят этих газет. Роль жены сведена к деторождению и уходу за детьми, когда они заболевают. Только по воскресеньям, под руку со своими мужьями, они на прогулке щеголяют яркими платьями и шальями, которыми те сочли целесообразным вознаградить их усердие в выполнении обязанностей матерей и супругов.

Если Люсьен проявлял больше постоянства в отношении к мадемуазель Сильвиане Бершю, то лишь потому, что с ней встречаться было удобнее: стоило только войти в лавку. Наш герой в конце концов объединился в этом с господином префектом, который с подчеркнутой учтивостью и слащавой улыбкой каждый вечер стучался в заднюю дверь магазина спиртных напитков. Не задерживаясь в лавке, первое должностное лицо департамента проходило в комнаты, расположенные за торговым помещением. Там господин Флерон был гостем «одного из наиболее высоко облагаемых налогами негоциантов департамента», как он писал своему министру.

Люсьен показывался только раз в неделю у мадемуазель Сильвианы и всякий раз, уходя от нее, давал себе слово прийти сюда не ранее чем через месяц.

Одно время он захаживал к мадемуазель Сильвиане ежедневно. Рассказы и гнев славного Филото, неудачи старших офицеров, поведение которых отделяло его от них пропастью, – все это пробудило в нем дух противоречия.

«Есть здесь круг людей, не желающих принимать у себя лиц, которые носят вот этот мундир, что на мне, – попробую стать вхожим в их дома. Возможно, что на деле они окажутся такими же скучными, как и буржуа, но там посмотрим; по крайней мере, мне будет приятно сознавать, что я преодолел препятствие. Надо попросить у отца рекомендательные письма».

Но писать отцу серьезным тоном было не совсем легко. Вне своей конторы господин Левен обычно не дочитывал писем, казавшихся ему неинтересными. «Чем легче для него исполнить мою просьбу, тем скорее придет ему в голову сыграть со мной какую-нибудь штуку, – думал Люсьен. – Он устраивает биржевые дела господина Бонпена, нотариуса аристократического предместья, человека, ведающего сбором в провинции всех денежных средств на нужды партии и пересылкой их в Испанию. Господин Бонпен может двумя-тремя словами обеспечить мне блестящий прием во всех знатных домах Лотарингии». Руководствуясь этими соображениями, Люсьен написал отцу.

Вместо толстого пакета, которого он ждал с нетерпением, он получил от заботливого отца лишь коротенькое письмецо на осьмьюшке бумаги:

Любезный корнет!

*Вы юны, вы слывете богачом, вы, конечно, считаете себя красавцем, во всяком случае, у вас красивая лошадь, раз вы заплатили за нее полтораста ливров. А в тех местах, где вы находитесь, лошадь наполовину обеспечивает репутацию ее владельца. Вы, должно быть, существо более жалкое, чем самый последний сенсимонист, если не сумели открыть себе доступ в замки нансийских дворянчиков. Бьюсь об заклад, что Мелине (слуга Люсьена) устроил свои дела лучше, чем вы, и по вечерам не знает, на ком остановить свой выбор. Дорогой мой Люсьен, *studiate la matematica*²⁹ и будьте умнее. Ваша мать здорова, так же как и ваш преданный слуга*

²⁹ Изучайте математику (*ит.*). – Во второй части своей «Исповеди» Жан-Жак Руссо рассказывает об одной венецианской красавице, которая дала ему такой совет: «Zanetto, lascia le donne, e studia la matematica», то есть «Жанно, оставь женщин и займись математикой».

Франсуа Левен.

Люсьен готов был провалиться сквозь землю после такого письма. В довершение всех бед, возвращаясь вечером с прогулки, на которой он не мог удалиться больше чем на два лье от гарнизона, он увидел своего лакея Мелине, сидящего на улице перед какой-то лавкой и окруженного женщинами; все хохотали. «Мой отец – мудрец, – подумал он, – а я – дурак».

Почти в ту же минуту он заметил библиотеку для чтения, в которой зажигали лампы; отдав слуге повод, он вошел внутрь помещения, желая придать другое направление своим мыслям и немного рассеяться.

На следующее же утро, в семь часов, его вызвал к себе полковник Малер.

– Милостивый государь, – с внушительным видом обратился к нему начальник, – я знаю, что существуют республиканцы – это несчастье для Франции, – но я не могу допустить, чтобы они находились в рядах полка, доверенного мне королем.

И так как Люсьен смотрел на него с удивлением, он продолжал:

– Бесполезно отрицать, милостивый государь: вы проводите время в библиотеке Шмидта на улице Помп, напротив особняка де Понлеве. Это заведение, как мне сообщили, является очагом анархии и служит местом сборища самых отъявленных якобинцев в Нанси. Вы не постыдились завязать тесное знакомство с оборванцами, которые встречаются там друг с другом каждый вечер. Вы постоянно прогуливаетесь перед этими окнами, вы обмениваетесь знаками с этими людьми. Можно предположить, что вы и есть тот анонимный жертвователь, который, как сообщил министр генералу барону Терансу, прислал из Нанси восемьдесят франков по подписке на покрытие штрафа, наложенного на «National»... Не возражайте, сударь! – гневно закричал полковник, увидев, что Люсьен хочет, в свою очередь, заговорить. – Если вы, на свою беду, признаетесь в подобной глупости, я буду вынужден отослать вас в штаб, в Мец; я не хочу губить молодого человека, который уже однажды испортил себе всю карьеру.

Люсьен был вне себя от ярости. Пока полковник говорил, два-три раза его искушало желание схватить перо со стола, с широкого, елового, закапанного чернилами, замызганного стола, за которым, как за барьером, стоял этот грубый, лишенный всякого вкуса самодур, и написать тут же рапорт об увольнении. Мысль, что он станет предметом отцовских насмешек, остановила его; спустя несколько минут он нашел более достойный для мужчины выход: заставить полковника признать, что он обманут или что он хотел обмануть Люсьена.

– Полковник, – сказал он дрожащим от гнева голосом, но в достаточной мере владея собой, – меня исключили из Политехнической школы, это правда; меня объявили республиканцем, между тем как я был только легкомысленным юношей. Кроме математики и химии, я не знаю ничего. Я не изучал политических наук, и у меня есть серьезные возражения против всех форм правления. Я не могу поэтому судить, какой образ правления больше всего подходит Франции...

– Как, милостивый государь, вы смеее признаваться, будто не понимаете, что только король...

Мы опускаем здесь три страницы, которые бравый полковник выпалил одним духом; эти страницы он за несколько дней до того прочел в газете, субсидируемой государственной казной.

«Я переоценил умственные способности этого шпиона, размахивающего саблей», – подумал Люсьен, пока полковник разглагольствовал, и стал подыскивать фразу, которая несколькими словами выразила бы многое.

– Вчера я в первый раз за всю мою жизнь переступил порог этой библиотеки, – воскликнул он наконец, – и согласен заплатить пятьдесят луидоров тому, кто докажет противное!

– Дело не в деньгах, – язвительно возразил полковник. – Всем известно, что у вас их много, и, по-видимому, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Вчера, сударь, в библиотеке

Шмидта вы читали «National» и не взяли ни «Journal de Paris», ни «Débats», лежавшие на середине стола.

«В библиотеке находился точный наблюдатель», – решил Люсьен и принялся излагать все, что он делал там; в результате обстоятельного пересказа малейших деталей он поставил полковника в невозможность отрицать:

во-первых, что действительно накануне он, Люсьен, читал в публичном месте газету *впервые* со дня своего прибытия в полк;

во-вторых, что в библиотеке Шмидта он пробыл только сорок минут;

в-третьих, что все это время он был занят чтением большого фельетона в шесть столбцов о моцартовском «Дон-Жуане»; правильность этого утверждения он брался доказать изложением основных мыслей фельетона.

После двухчасового пребывания в кабинете полковника, учинившего ему самый придирчивый допрос, Люсьен вышел наконец оттуда, бледный от гнева, ибо недобросовестность полковника была очевидной; однако наш корнет испытывал живейшее удовольствие от сознания, что вынудил его взять обратно свое обвинение по всем пунктам.

«Я предпочел бы всю жизнь иметь дело с отцовскими лакеями», – подумал Люсьен, переводя дыхание уже на улице.

«Канальи! – повторил он раз двадцать в течение дня. – Но я всю жизнь буду дураком в глазах моих приятелей, если, имея двадцать лет от роду и будучи владельцем самой лучшей лошади в городе, я потерплю фиаско в полку, придерживающемся умеренных взглядов, где именно в силу этого деньги – все. Мне надо драться на дуэли, чтобы, в случае моего увольнения, в Париже мое имя было, на худой конец, связано с каким-нибудь происшествием. Это обычно принято при поступлении в полк; по крайней мере, такого мнения придерживаются в наших салонах, и, право, потеряв жизнь, я потеряю не так уж много».

После обеда, по окончании чистки лошадей, он обратился во дворе казармы к нескольким офицерам, выходявшим одновременно с ним:

– Шпионы, которыми здесь хоть пруд пруди, обвинили меня перед командиром полка в самом пошлом из всех грехов: по их словам, я республиканец. Однако мне кажется, что я занимаю известное положение в свете и что у меня есть кое-какое состояние, которое я могу потерять. Я хотел бы узнать имя моего обвинителя, чтобы, во-первых, оправдаться перед ним, а во-вторых, два-три раза слегка прикоснуться к нему вот этим хлыстом.

На мгновение воцарилось глубокое молчание, потом заговорили о другом.

Вечером Люсьен вернулся с прогулки; на улице слуга вручил ему письмо в изящном конверте; он распечатал его и увидел только одно слово: *Ренегат*. В эту минуту Люсьен был, пожалуй, самым несчастным человеком во всех уланских полках армии.

«Вот как они устраивают все свои дела; настоящие дети! – подумал он наконец. – Кто сказал этим бедным молодым людям, что я их единомышленник? Знаю ли я сам свой образ мыслей? Я был бы последним дураком, если бы вздумал управлять государством: я ведь не умею управлять своей собственной жизнью».

Впервые у Люсьена явилось смутное желание покончить с собой; скука, дошедшая до предела, озлобила его; он уж не видел вещей такими, каковы они были в действительности. Например, было в полку человек восемь или десять весьма любезных офицеров, но он был слеп, он не замечал их достоинств.

На другой день, когда Люсьен все еще говорил на тему о республиканстве двум-трем офицерам, один из них перебил его:

– Друг мой, вы надоели нам со своей вечной песенкой. Какое нам дело, учились ли вы в Политехнической школе, выгнали ли вас оттуда, оклеветаны ли вы и тому подобное? У меня тоже были свои несчастья; шесть лет назад я растянул себе связки, но не докучаю этим своим приятелям.

Люсьен мог бы пропустить мимо ушей это обвинение. С первых же дней своего пребывания в полку он сказал себе: «Я здесь не для того, чтобы обучать хорошему тону всех невоспитанных людей, какие есть в полку, я должен протестовать лишь в тех случаях, когда кто-либо из них оказывает мне честь, проявляя в отношении меня необычную грубость».

На обвинение в докучливости Люсьен после некоторой паузы ответил:

– Я очень боюсь быть докучным – со мною иногда это бывает, и в этом, сударь, я готов поверить вам на слово, – но я твердо решил не допускать никаких обвинений меня в республиканском образе мыслей; я хотел бы скрепить мое заявление ударом шпаги и был бы вам, милостивый государь, весьма обязан, если бы вы согласились скрестить свою шпагу с моей.

Слова Люсьена заставили встрепетаться всех этих молодых людей; вскоре Люсьена окружили человек двадцать офицеров. Поединок был неожиданной радостью для всего полка. Он произошел в тот же вечер около крепостного вала, в очень унылом и очень грязном закоулке. Дрались на шпагах; оба противника были ранены, но так, что государству не грозила опасность потерять ни одного из них. Люсьен получил основательный удар в правое предплечье. По поводу полученной раны он позволил себе пошутить, но неудачно, так как шутка никем не была понята. Его секундант, шокированный ею, осведомился, нужен ли он Люсьену, и, получив отрицательный ответ, оставил его одного.

Люсьен присел на камень; когда он захотел встать, у него не хватило сил, и вскоре он почувствовал себя дурно. Было уже почти совсем темно. Из оцепенения, в котором он находился, его вывел негромкий звук где-то рядом; он открыл глаза; перед ним стоял какой-то улан, со смехом смотревший на него.

– Вот он, наш милорд, мертвецки пьяный, – говорил улан. – Что бы обо мне ни болтали, я пропиваю все свои деньги, но меня еще никогда не видали в таком состоянии. Черт возьми! У него и впрямь денег побольше, чем у меня, и если он тратит все на выпивку, он должен заряжаться основательнее, чем улан Жером Менюэль.

Люсьен глядел на улана, не имея силы произнести хотя бы слово.

– Вам трудно ходить, господин корнет; разрешите поставить вас на ноги?

Менюэль не позволил бы себе разговаривать таким языком с офицером, если бы тот не показался ему пьяным, но он от чистого сердца смеялся, видя, что «милорд», как называли Люсьена солдаты, не в состоянии держаться на ногах, и в качестве настоящего француза он был в восторге, что имеет возможность так обращаться к командиру. Люсьен посмотрел на него и, наконец собравшись с силами, произнес:

– Помогите мне, прошу вас.

Менюэль просунул свои руки корнету под мышки и помог ему встать на ноги. Почувствовав что-то влажное у себя на левой руке, Менюэль поглядел на нее: она была вся в крови.

– Если так, то присядьте, – предложил он Люсьену. Его голос был полон уважения и сердечности.

«Черт побери! Он не пьян, – подумал он, – он получил хороший удар шпаги».

– Хотите, господин корнет, я донесу вас до вашего дома? Я достаточно силен. Но сначала позвольте снять с вас мундир: я перевяжу вашу рану.

Люсьен ничего не ответил. Менюэль в одно мгновение снял с него мундир, разорвал на нем сорочку, сделал из одного рукава повязку, наложил ее на рану и изо всех сил стянул руку носовым платком; сбегав в ближайший кабачок, он вернулся оттуда со стаканом водки и смочил ею повязку. Остаток водки он дал выпить Люсьену.

– Побудьте здесь, – сказал ему Люсьен.

Минуту спустя ему удалось выговорить:

– Все это тайна. Пойдите ко мне, велите заложить коляску, садитесь в нее и приезжайте за мной. Вы мне окажете услугу, если никто на свете не узнает об этом маленьком происшествии, особенно полковник.

«Милорд, в конце концов, неглуп, – решил Менюэль, направляясь за коляской. Улан испытывал прилив гордости. – Сейчас я буду давать распоряжения этим щеголям-лакеям, у которых такие богатые ливреи».

Менюэль раньше презирал Люсьена; он нашел его раненым и мужественно переносящим случившееся; теперь он восхищался им так же пылко и глубоко, как презирал его четверть часа назад.

Глава восьмая

Очутившись в коляске, Менюэль, вместо того чтобы перейти на соболезнующий тон, стал сыпать шутками, смешная сторона которых заключалась не столько в их смысле, сколько в том, как он все это говорил.

– Прошу вас, мой друг, дать мне честное слово, что вы никому не расскажете о том, чему были свидетелем.

– Заверяю вас чем угодно; но самое лучшее, спросите-ка самого себя, сударь, захочу ли я прогневить любимчика подполковника Филото?

Менюэль отправился за полковым хирургом; его не удалось разыскать; Менюэль остался при раненом, который нисколько не страдал. Люсьен был поражен природным умом Менюэля, забулдыги и неудачника, весело относившегося ко всем превратностям судьбы и поселившегося у нашего героя. Доведенный до отчаяния скукой, окруженный чопорными людьми и еще не научившийся ценить характер простого солдата, Люсьен, вместо того чтобы предаваться мрачным мыслям, охотно слушал бесконечные рассказы Менюэля.

Полковой хирург, шевалье Билар, как он сам себя именовал, довольно добродушный шарлатан, уроженец департамента Верхних Альп, явился на другой день рано утром. Шпага противника прошла совсем близко от артерии. Шевалье Билар сильно сгустил краски (опасности не было никакой) и стал навещать больного по два, по три раза в день. В библиотеке храброго корнета можно было найти, как выражался шевалье, «превосходные издания» вроде киршвассера 1810 года, двенадцатилетнего коньяка, бордоской анисовки фирмы Мари Бризар, данцигской водки, настоящей на золотых травинках, и т. п. Шевалье Билар, любитель чтения, проводил целый день у раненого, сильно докучая этим Люсьену; но компенсацией для него явилось то, что Менюэль, также отдававший должное великолепной «библиотеке» нашего героя, теперь окончательно поселился у него. Люсьен при посредстве подполковника Филото выпросил себе Менюэля вместо сиделки.

Менюэль рассказывал нашему раненому герою о некоторых происшествиях из своей жизни, воздерживаясь от повествования о других. В виде эпизода мы изложим мимоходом эту историю жизни простого солдата. Если порою в реестрах полка значатся имена людей с заурядной, похожей одна на другую судьбою, то в иных случаях под простым мундиром солдата бьется сердце, испытывавшее не раз интересные ощущения.

Менюэль работал подмастерьем у переплетчика в Сен-Мало, на своей родине. Влюбившись в субретку, которая служила в труппе бродячих комедиантов, приехавшей в Сен-Мало, Менюэль бросил заведение своего хозяина и сделался актером. Однажды в Байонне, где он жил уже несколько месяцев, успев за это время завоевать симпатии многих лиц, и где, давая уроки фехтования, он сколотил себе кое-какой капитал, Менюэль был поставлен в затруднительное положение одним молодым байонцем, который по дружбе одолжил ему полтора ста франков и теперь настойчиво требовал их обратно. Сбережения Менюэля были немного больше этой суммы, но ему не хотелось трогать их, вернее, совершенно подорвать их выплатой долга, и он решился на подлог. То была расписка в получении денег, составленная следующим образом: «Получено от предъявителя сего сто пятьдесят франков. *Перре-сын*». Когда приятель кредитора, господина Перре, уехавшего в По, пришел от его имени требовать уплаты, у Менюэля хватило смелости заявить, что он послал деньги господину Перре перед его отъездом. По возвращении в Байонну Перре потребовал, чтобы ему вернули долг. Менюэль ответил грубостью; Перре вызвал его на поединок, хотя Менюэль был чем-то вроде учителя фехтования.

Менюэль, уже снедаемый угрызениями совести, пришел в ужас от того, что собирался сделать: убить человека, чтобы украсть у него полтора ста франков! Он предложил уплатить долг. Перре обозвал его трусом. Эти слова заставили Менюэля прибодриться и подействовали

на него благотворно. Он решил драться и дал себе твердое обещание всячески щадить Перре. По дороге к месту дуэли Менюэль сказал Перре:

– Отбивайтесь все время, ни разу не открывайтесь, и я не смогу вас убить.

Он это советовал от чистого сердца; он говорил как учитель фехтования. К несчастью, Перре заподозрил его в коварстве и низости, от которых бедняга Менюэль был очень далек.

После двух-трех схваток Перре счел нужным избрать способ действий обратный тому, который ему посоветовал противник; он бросился на Менюэля и сам напоролся на клинок. Ранение оказалось опасным. Менюэль был в отчаянии, но его горе сочли лицемерием и трусостью. Опозоренный, поднятый на смех всеми в городе, он подвергся преследованию со стороны отца Перре как лицо, совершившее подлог денежного документа. Вся Байонна пришла в ярость, и так как во Франции все, даже решения присяжных заседателей, испытывает на себе влияние моды, Менюэля приговорили к каторжным работам.

В тюрьме Менюэль доставал через сторожей вино и почти всегда был навеселе; он терзался угрызениями совести и, считая себя человеком погибшим, стремился весело провести короткое время, остававшееся в его распоряжении. Надзиратели, тюремщики – все полюбили его. Однажды он увидел, как в каморку привратника принесли десяток толстых связок веревок, чтобы заменить ими старые веревки на всех оконных ставнях. Менюэля озарила мысль: он тотчас же украл одну связку. Ему повезло: никто его не заметил, – и он бежал в ту же ночь, перебравшись через две стены весьма внушительной высоты. Он прежде всего кинулся к приятелю Перре – отдать полтораста франков долга; приятель был один из тех, которые больше всех помогали отцу Перре добиться осуждения Менюэля. Но в Байонне мода уже начала меняться, и люди стали находить, что суд был слишком жесток к нему. Приятель покойного, увидав Менюэля, пожалел его и сразу же посадил его на судно, еще до рассвета уходившее в море на рыбную ловлю.

В следующую ночь разыгралась буря; судно из Байонны было отброшено к Сан-Себастьяну. Менюэль подозвал испанскую лодку и в ту же ночь уже бродил по сан-себастьянской набережной. Вербовщик предложил ему поступить в солдаты, чтобы стать защитником законной династии и дона Карлоса; Менюэль согласился и через несколько дней прибыл в армию претендента на испанский престол. Он доказал свое умение ездить верхом, за словом в карман не лез, и его назначили в кавалерию.

Месяц спустя Менюэль выступил со своей ротой для прикрытия обоза; christinos³⁰ напали на них; Менюэль насмерть перепугался. Сделав несколько выстрелов, он галопом умчался в горы. Когда его конь был уже не в силах двигаться вперед по крутым скалам, Менюэль, связав ему передние ноги, оставил его в русле пересохшего горного потока и побежал дальше. Наконец до его слуха перестали долетать неприятные звуки ружейной пальбы. Он призадумался.

«Как дерзну я после столь блестящего поступка снова показаться в армии, где тремя пустяковыми дуэлями я составил себе славу неустрашимого храбреца?»

«Я – великий негодяй, – пришел к заключению Менюэль. – Подделыватель денежных документов, приговоренный к каторжным работам, и, в довершение всего, еще трус!» У него мелькнула мысль о самоубийстве, но когда он стал размышлять о способах покончить с собой, им овладел ужас. С наступлением ночи наш молодец, умирая от голода, подумал, что, быть может, мул одной из маркитанток ранен или убит в перестрелке и что в таком случае на поле сражения, должно быть, валяются корзины, которые мул таскал на себе; Менюэль, опасливо крадучись, вернулся обратно. Он часто подолгу останавливался, ложился и прикладывал ухо к земле; до него доносился только шум ночного ветерка в кустарниках и низкорослых пробковых деревьях.

³⁰ Сторонники королевы Христины (исп.).

Наконец он очутился на месте, откуда бежал, и там, к великому своему изумлению, увидел, что это крупное дело после шестичасовой перестрелки свелось к потере двух человек; оба трупа лежали на поле битвы. «Я, значит, редкий трус, если испугался такой ничтожной опасности!» – подумал он. Бродя в отчаянии по месту сражения, он наткнулся на бурдюк, наполовину наполненный вином, и несколько поодаль на совершенно целый хлеб. Из осторожности он отошел шагов на двести от поля битвы и принялся за еду; потом, все время настороженно прислушиваясь, вернулся назад.

Один из убитых оказался молодым французом по имени Менюэль, и сумка его была набита письмами; там же лежал по всем правилам выправленный паспорт. Нашего героя осенила блестящая мысль переменить имя; он взял себе паспорт, письма, сумку, рубахи, которые были лучше его рубах, и, наконец, имя Менюэля; до того его звали совсем иначе.

Переменив фамилию, он задал себе вопрос: «Почему бы мне не возвратиться во Францию? Я уже не осужден на каторжные работы, не преступник, которого всюду разыскивает жандармерия. Мне надо только держаться подальше от Байонны, где я сиял ложным блеском, да Монпелье, где родился бедняга Менюэль, и я свободно могу кочевать по всей Франции». Заря уже занималась; он нашел около сотни франков в карманах обоих убитых и продолжал свои поиски, как вдруг увидел, что к нему приближаются двое крестьян. Он решил сказать себя раненым, отправился за лошадью, затем вернулся к крестьянам, но убедился, что они, сочтя его ослабевшим от раны, хотели обойтись с ним так же, как он обошелся с покойниками, он сразу почувствовал себя выздоровевшим, и крестьяне опять стали человечнее; один из них обязался за пиастр, который ему будут выплачивать утром, и за другой, который ему будут выплачивать вечером, довести Менюэля до Бидассоа – горного ручья, вдоль которого, как известно, проходит французская граница.

Менюэль был очень счастлив, но не успел он очутиться во Франции, как уже вообразил (это был человек, наделенный чересчур пылким воображением), будто жандармы, попадавшие ему навстречу, всматриваются в него как-то особенно. Он доехал верхом до Безье. Там он продал своего коня и сел в дилижанс, уходивший в Лион. Прodelав часть пути на пароходе, а другую часть пешком, он добрался до Дижона, а несколько дней спустя – до Кольмара. Когда он прибыл в этот красивый городок, у него в кармане оставалось только пять франков.

Он крепко призадумался. «Я отлично владею оружием, – сказал он себе, – отлично дерусь, если только меня выведут из себя, и хорошо езжу верхом; все газеты утверждают, что войны еще долго не будет; к тому же в случае, если она разразится, я могу дезертировать. Запишемся же в егерский полк, штаб которого находится в Кольмаре. Я вручу свой паспорт коменданту, а затем постараюсь выкрасть его. Если мне удастся уничтожить этот документ, способный погубить меня, я скажу, что я уроженец Лиона, который я только что хорошенько рассмотрел, назовусь Менюэлем, и черта с два, если кто-нибудь во мне опознает приговоренного к каторге!» Сказано – сделано. Через полгода после своего поступления в полк Менюэль, образец для всех солдат, собственноручно сжег свой паспорт, который он изловчился выкрасть из стола капитана, ведавшего рекрутированием новобранцев. Менюэля все очень любили, и он приобрел репутацию отличного фехтовальщика; в полку его считали большим весельчаком. Желая позабыть преследовавшие его несчастья, он оставлял в кабачке все деньги, которые зарабатывал с помощью рапиры. Он дал себе два обещания: приобрести в полку как можно больше друзей, никогда не садясь за стол один, и ни разу не напиться до потери сознания, чтобы не выболтать чего-нибудь лишнего.

В течение двух лет, что Менюэль опять служил в полку, его жизнь внешне сложилась вполне счастливо. Если бы он тщательно не скрывал, что он грамотен, офицеры его роты, которые были весьма довольны его опрятным видом и которым он всегда искал случая угодить, уж постарались бы добиться его производства в бригадиры. Менюэль слыл первым забавником в полку. У него произошла дуэль, закончившаяся очень счастливо для него, с одним учителем

фехтования: он перед всем гарнизоном блестяще доказал свою храбрость и ловкость. Но всякий раз при виде жандарма его бросало в дрожь, и подобные встречи отравляли ему жизнь. От этой беды у него было одно лишь спасение – ближайший кабак.

Когда ему посчастливилось завязать тесные отношения с Люсьеном, в его судьбе произошел перелом. «Такой богач, – решил он, – сумеет добиться моего помилования, если я даже буду опознан: ему надо только захотеть. Он плюет на деньги и в нужный момент не пожалеет тысячи экю, чтобы подкупить в мою пользу какого-нибудь начальника бюро!»

От шевалье Билара Люсьен узнал, что в Нанси есть врач, знаменитый своим редким талантом и, кроме того, прекрасно принятый в высшем свете благодаря своему красноречию и ярким легитимистским убеждениям. Звали его господин Дю Пуарье. По всему тому, что рассказывал шевалье Билар, Люсьен сообразил, что этот лекарь, вероятно, является местным фактотумом и что, во всяком случае, с ним будет небезынтересно познакомиться.

– Обязательно, дорогой доктор, завтра же приведите ко мне этого господина Дю Пуарье; скажите ему, что я в опасности...

– Но вы вовсе не в опасности...

– А разве так уж неуместно начать со лжи наши сношения с пресловутым интриганом? Когда он будет здесь, не противоречьте мне ни в чем; предоставьте мне полную свободу, и мы с вами наслушаемся всяких занятных вещей насчет Генриха Пятого и Людовика Деятнадцатого; возможно, что мы с вами немного развлечемся.

– Ваша рана – дело чисто хирургическое; я не вижу, что тут делать врачу по внутренним болезням, и т. д.

В конце концов шевалье Билар все-таки согласился отправиться за этим лекарем, так как понял, что, если он его не приведет, Люсьен может сам письменно пригласить его к себе.

Знаменитый доктор явился на следующий день. «У него мрачный вид бесноватого», – подумал Люсьен. И пяти минут не просидел доктор у нашего героя, как уже, обращаясь к нему, он фамильярно похлопывал его по животу. Этот господин Дю Пуарье был крайне вульгарным существом, по-видимому гордившимся своими дурными, развязными манерами: так свинья валяется в грязи, нагло нежась на глазах у зрителя. У Люсьена почти не было времени заметить эти необыкновенные странности: было слишком очевидно, что Дю Пуарье фамильярничал с ним не из тщеславия и не из желания поставить себя на одну доску с Люсьеном или выше его. Люсьену казалось, что перед ним достойный человек, по необходимости вынужденный с живостью выражать мысли, от обилия и значительности которых его всегда раздражает. Человек постарше Люсьена заметил бы, что горячность Дю Пуарье не мешала ему гордиться фамильярностью, на которую он сам дал себе право, и чувствовал все ее преимущества. Когда он не говорил с увлечением, он был так же мелочно кичлив, как и любой француз. Но шевалье Билар всего этого не увидел и нашел, что Дю Пуарье – человек дурного тона, которого следовало бы выгнать даже из кабака. «Нет, – решил Люсьен, минуту перед тем уже готовый поддаться обольщению и поверить пылкости этого одаренного человека, – это лицемер; он слишком умен, чтобы увлечься, он ничего не делает, не поразмыслив как следует. Эта выходящая за всякие пределы вульгарность и дурной тон, наряду с постоянной возвышенностью мыслей, должны преследовать какую-то цель». Люсьен внимательно слушал; доктор говорил обо всем, но главным образом о политике; он хотел уверить собеседника, что насчет всего у него есть какие-то никому не известные сведения.

– Однако, сударь, – перебил Дю Пуарье свои собственные бесконечные рассуждения о благоденствии Франции, – вы примете меня за парижского лекаря, упражняющегося в остроумии и говорящего с больным о чем угодно, кроме его болезни.

Доктор осмотрел руку Люсьена и предписал ему полный покой в течение недели.

– Оставьте всякие припарки, не применяйте никаких средств и, если не появится осложнений, забудьте об этой царапине.

Люсьен нашел, что, в то время как доктор Дю Пуарье осматривал его рану и выслушивал пульс, взор его был неподобен. Покончив с этим, Дю Пуарье сразу же вернулся к своей основной мысли – о том, что Луи-Филипп не сможет долго управлять государством³¹.

Наш герой довольно легкомысленно вообразил, что он, не прилагая никаких усилий, позабавится насчет провинциального остроумия профессионального врача; он убедился, что провинциальная логика стоит большего, чем провинциальные стишки. Он не только не разыграл Дю Пуарье, но ему пришлось затратить немало труда, чтобы самому не попасть в смешное положение. Одно было бесспорным: при виде столь необычного зверя он совершенно исцелился от скуки.

Дю Пуарье можно было дать лет пятьдесят; у него были крупные и очень характерные черты лица. Серо-зеленые глаза, глубоко сидевшие в орбитах, двигались, вращались с удивительной быстротой и, казалось, метали искры; ради них можно было простить доктору его поразительно длинный нос, отделявший их друг от друга. В целом ряде ракурсов этот несчастный нос придавал физиономии Дю Пуарье сходство с мордой проворной лисицы – большое неудобство для апостола. К сожалению, если присмотреться поближе, сходство это довершалось густым лесом рыжеватых, весьма рискованного оттенка волос, торчавших дыбом на лбу и на висках. В общем, раз увидав это лицо, его уже нельзя было забыть; в Париже оно, быть может, отпугнуло бы дураков, в провинции же, где люди скучают, с готовностью приемлется все, что обещает хоть маленький интерес, и доктор пользовался успехом.

У него были вульгарные манеры и наряду с этим необычайная, поражающая воображение физиономия. Когда доктор считал, что он уже убедил своего противника (а он, обращаясь к собеседнику, всегда имел перед собой противника, которого надлежало переубедить, или сторонника, которого следовало завербовать), его брови подымались невероятно высоко, а маленькие серые глазки, широко раскрытые, как у гиены, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Даже в Париже, – подумал Люсьен, – эта кабанья морда, этот яростный фанатизм, эти дерзкие, но полные красноречия и энергии повадки спасли бы его от участи быть смешным. Это апостол, это иезуит». И он с крайним любопытством разглядывал его.

Во время этих размышлений доктор перешел к вопросам самой высокой политики; он, видимо, был увлечен. Следовало отменить раздел родовых поместий после кончины главы семейства, следовало прежде всего призвать обратно иезуитов. Что касается старшей ветви, было бы отступничеством выпить во Франции стакан вина до того момента, пока эта ветвь не будет восстановлена во всех своих правах, то есть в Тюильри, и т. д. Ни единым словом господин Дю Пуарье не счел нужным смягчить резкий свет этих великих истин, не счел нужным поступиться в пользу предрассудков своего адепта.

– Как! – воскликнул вдруг доктор. – Вы, человек из хорошей семьи, человек утонченных нравов, состоятельный, занимающий хорошее положение в свете, получивший тонкое воспитание, – и вы бросаетесь в гнусный омут умеренных взглядов! Вы становитесь их защитником, вы будете сражаться за них не в настоящей войне, самые бедствия которой имеют столько благородства и прелести для возвышенных сердец, а в войне жандармской, в пустой перестрелке с несчастными, умирающими с голоду рабочими? Для вас экспедиция на улицу Транснотен будет сражением при Маренго...

– Дорогой шевалье, – обратился Люсьен к доктору Билару, который был этим шокирован и считал себя обязанным выступить на защиту умеренных взглядов, – дорогой шевалье, мне пришла фантазия рассказать доктору о некоторых грешках моей юности, целиком входящих в компетенцию врача, о них я вам поведаю тоже, но когда-нибудь в другой раз: есть вещи, в которых мы предпочитаем признаваться лишь с глазу на глаз, и т. д., и т. д.

³¹ Это говорит легитимист, подобно тому как выше говорил республиканец. – *Примеч. автора.*

Несмотря на столь ясно выраженное желание, Люсьену стоило большого труда заставить убраться шевалье Билара, на которого напала непреодолимая охота говорить о политике. Люсьен без всяких оснований заподозрил его в том, что он шпион.

Красноречивый Дю Пуарье нисколько не был обескуражен изгнанием хирурга: он продолжал пылко жестикулировать и горланить без умолку.

– Как! Вы собираетесь погрязнуть в скуке и в убожестве гарнизонного прозябания? Это ли роль, достойная вас? Расстаньтесь с нею как можно скорей. В день, когда раздастся пушечный выстрел, – не выстрел из пошлой антверпенской пушки, а из пушки национальной, при звуке которого затрепещут все французские сердца, мое так же, как и ваше, сударь, – вы раздадите несколько луидоров в министерских канцеляриях и окажетесь корнетом, как были до того, а разве для такого человека, как вы, не все равно, воевать ли в чине корнета или в чине капрала? Предоставьте мелочное «эполетное» тщеславие полудуракам; самое существенное для души вроде вашей – это благородно уплатить свой долг отечеству; самое существенное – это умно руководить двадцатью пятью крестьянами, у которых нет ничего, кроме отваги, самое существенное для вашего самолюбия – это проявить в наш скептический век единственную доблесть, которую нельзя заподозрить в лицемерии. Человека, который и бровью не поведет под огнем прусских пушек, никто не обвинит в притворной храбрости, между тем как обнажать саблю против рабочих, защищающихся охотничьими ружьями, особенно когда их сражается четыреста против десяти тысяч, доказывает лишь отсутствие всякого благородства и карьеризм. Заметьте, как реагирует на это общественное мнение: в этом гнусном единоборстве восхищение будет всегда вызывать, как это было в Лионе, мужество той стороны, у которой нет ни пушек, ни петард. Но будем рассуждать как Барем: даже перебив множество рабочих, вам, господин корнет, придется ждать по меньшей мере лет шесть, чтобы получить чин лейтенанта, и т. д., и т. д.

«Похоже на то, что этот тип знает меня уже полгода», – подумал Люсьен. Все эти вещи, носившие столь личный характер и, пожалуй, казавшиеся оскорбительными, теряют очень много в письменном изложении. Надо было слышать, как их говорил пылкий фанатик, умевший, однако, быть деликатным и даже почтительным, когда он видел, что может задеть естественное самолюбие молодого человека из хорошей семьи. Самым личным вещам, наиболее интимным советам, которых у него не спрашивали и которые в устах всякого другого звучали бы непростительной дерзостью, доктор умел придавать такой живой, такой занятный, такой неоскорбительный оборот, без всякой претензии на превосходство по отношению к собеседнику, что ему приходилось все прощать. К тому же повадки, сопутствовавшие этим странным речам, были до того смехотворны, жесты, сопровождавшие их, до того забавно-вычурны, что Люсьен, оставаясь вполне парижанином, все-таки не нашел в себе необходимой решимости, чтобы поставить доктора на должное место, а именно на этом Дю Пуарье и строил свои расчеты. Впрочем, я полагаю, он не пришел бы в отчаяние, если бы его и одернули сурово: эти смелые люди довольно толстокожи.

Избавившись сразу и столь неожиданным способом благодаря старому провинциальному лекарю от чудовищной скуки, удручавшей его уже два месяца, Люсьен не имел мужества отказаться от такого занимательного зрелища. «Я был бы чудачком, – убеждал он себя, надрываясь чуть не до слез от сдержанного внутреннего смеха, – если бы дал понять этому шуту, проповедующему крестовый поход, что его манеры не вполне соответствуют поведению, подсказываемому правилами приличия при первом визите. Да и что выиграл бы я, напугав его?»

Все, что мог сделать Люсьен, это обмануть ожидания пылкого сторонника Генриха V и иезуитов, который хотел принудить его к исповеди, а добился только того, что, не будучи прерываем своим собеседником и не встречая никаких возражений, обрушивал на него целый град непристойных фраз, но, как истый апостол, Дю Пуарье, по-видимому, привык к такому отсутствию реплик и ничуть не казался смущенным.

Люсьену удалось провести этого ученого медика лишь в отношении своего здоровья. Он всячески старался, чтобы доктор не разгадал, что он пригласил его из-за скуки. Он притворился, будто его сильно мучит *«летучая подагра»*, болезнь, которою страдал его отец и все симптомы которой Люсьен знал наперечет. Врач внимательно выслушал его, а затем дал ему ряд серьезных советов.

Покончив со вторичным осмотром больного, Дю Пуарье поднялся, но не уходил, он удвоил свою грубую и резкую лесть, он хотел во что бы то ни стало заставить Люсьена высказаться. Наш герой внезапно почувствовал себя достаточно сильным, чтобы говорить без смеха. «Если я не займу определенной позиции с первого же раза, этот мерзавец не раскроет своих карт до конца и будет не так забавен».

– Я не намерен отрицать, сударь, что не считаю себя обездоленным, я вступаю в жизнь, имея кое-какие преимущества: я вижу, что во Франции есть две-три крупные коммерческие фирмы, оспаривающие друг у друга монополию на общественные блага; должен ли я поступить на службу в фирму «Генрих V и К^о» или в фирму «National и К^о»? В ожидании выбора, который я сделаю позднее, я принял небольшое участие в торговом доме «Людовик-Филипп», единственном, который в данное время способен предложить нечто реальное и положительное, а я, признаюсь вам, верю только положительным данным: даже когда речь идет о материальной выгоде, я всегда склонен заподозрить своего собеседника в желании обмануть меня, если только он не представит мне положительных данных. При короле, которого я выбрал себе сам, у меня есть возможность изучить мое ремесло. Как ни почетны, как ни значительны партия республиканская, или партия Генриха Пятого, или партия Людовика Девятнадцатого, ни одна из них не в состоянии предоставить мне возможность научиться командовать эскадроном в открытом поле. Когда я изучу военное дело, я, вероятно, буду, как сегодня, преисполнен уважения к преимуществам разума, а равно и к прекрасному положению, достигнутому разными лицами в обществе, но, стремясь завоевать и для себя такое же положение, я окончательно выберу ту из трех фирм, которая предложит мне наилучшие условия. Согласитесь, сударь, что слишком поспешный выбор был бы крупной ошибкой, ибо в настоящий момент мне нечего желать: мне придется столкнуться с этим в будущем, если только кто-нибудь окажет мне честь подумать обо мне.

Эта неожиданная тирада, произнесенная с необычной горячностью – ибо Люсьен смертельно боялся расхохотаться, как сумасшедший, – на мгновение ошарашила доктора. Наконец он ответил, с трудом выжимая из себя каждое слово, тоном деревенского священника:

– Я с живейшей радостью вижу, что вы, сударь, уважаете все достойное уважения.

То обстоятельство, что Дю Пуарье переменял свой непринужденный сатанинский тон, до сих пор господствовавший в разговоре, на отеческий и нравоучительный, заставило Люсьена покраснеть от удовольствия. «Я был с ним достаточно плутоват, – подумал он, – я вынудил его оставить политические рассуждения и обратиться с призывом к сердцу». Он чувствовал себя в ударе.

– Я уважаю все и вместе с тем не уважаю ничего, дорогой доктор, – ответил легкомысленным тоном Люсьен, и, так как лицо доктора выразило удивление, он прибавил, как бы поясняя свою мысль: – Я уважаю все, что уважают мои друзья, но кто же будут мои друзья?

Пытаясь ответить на этот прямой вопрос, доктор вдруг стал плоско разглагольствовать, вынужден был заговорить об идее, предшествующей всякому опыту в человеческом сознании, о внутреннем откровении, получаемом каждым христианином, о преданности делу божью, и т. д., и т. д.

– Мне безразлично, верно ли все это или ложно, – продолжал самым непринужденным тоном Люсьен. – Я не изучал богословия; покуда мы еще находимся в области положительных интересов. Когда-нибудь на досуге мы, быть может, сумеем вдвоем погрузиться в глубины немецкой философии, столь любезной и столь ясной избранным умам. Один ученый приятель

сказал мне, что, исчерпав все свои доводы, он прекрасно объясняет, обращаясь к *вере*, все, чего не мог объяснить простым рассудком. А я уже имел честь доложить вам, милостивый государь, что еще не решил, вступлю ли я со временем в деловые сношения с торговой фирмой, включающей веру в свой основной капитал.

– Прощайте, сударь, я вижу, что вы скоро перейдете на нашу сторону, – ответил с весьма удовлетворенным видом доктор. – Мы во всем согласны друг с другом, – прибавил он, хлопнув Люсьена по груди, – а пока, надеюсь, на некоторое время мне удастся избавить вас от припадков вашей *«летучей подагры»*.

Он написал рецепт и ушел.

«Он менее глуп, – решил, уходя, доктор, – чем эти ничтожные парижане, каждый год проезжающие через наш город, чтобы поглазеть на Люневильский лагерь или на Рейнскую долину. Он с толком повторяет урок, усвоенный в Париже у одного из этих безбожников, заседающих в институте. Весь этот очаровательный макиавеллизм, к счастью, сплошная болтовня, и ирония, сквозящая в его речах, еще не проникла в его душу: мы с нею справимся. Надо заставить его влюбиться в одну из наших дам: госпоже д’Окенкур следовало бы решиться бросить этого д’Анте́на, который никуда не годится, так как он разоряется» и т. д.

К Люсьену снова вернулись его живость и парижская веселость: он вспомнил об этих прекрасных вещах лишь после того, как пережил в Нанси полосу чудовищной пустоты и равнодушия ко всему на свете.

Поздно вечером к нему зашел господин Готье.

– Я в восторге от этого доктора, – заявил ему Люсьен, – на всем свете не сыскать более занимательного шарлатана.

– Он почище шарлатана, – возразил республиканец Готье. – В молодости, когда у него было еще мало пациентов, он выписывал рецепт и затем бежал к аптекарю, чтобы самому приготовить лекарство. Через два часа он возвращался к больному, чтобы проверить его действие. В настоящее время в политике он тот же, кем некогда был в своей профессии; ему надлежало бы быть префектом департамента. Несмотря на его пятьдесят лет, основные черты его характера – потребность действовать и резвость ребенка. Одним словом, он до безумия любит то, что, как общее правило, причиняет людям столько неприятностей: он любит труд. Он испытывает потребность говорить, убеждать, вызывать события и в особенности преодолевать всяческие препятствия. Он бегом подымается на пятый этаж, чтобы преподать фабриканту зонтиков советы по его домашним делам. Если бы партия легитимистов имела во Франции двести таких человек и умела использовать их как следует, правительство лучше обращалось бы с нами, республиканцами. Вы еще не знаете, что Дю Пуарье по-настоящему красноречив: если бы он не был труслив – труслив, как ребенок, труслив, как теперь уже никто не бывает, – это был бы опасный человек, даже для нас. Он шутя верховодит всем здешним дворянством; он расшатывает кредит господина Рея, иезуита, первого викария нашего епископа; только неделю назад он одержал победу над аббатом Реем в одном деле, о котором я вам еще расскажу. Я неотступно стараюсь пролить свет на его интриги, потому что это самый неистовый враг нашей газеты «*Aurore*». На предстоящих выборах, которыми уже занят этот неугомонный человек, он поможет пройти одному-двум кандидатам правительственной партии, если префект позволит ему погубить нашу «*Aurore*» и посадить меня в тюрьму, ибо он воздает мне должное, как и я ему, и мы при случае аргументируем совместно. У него предо мной два неоспоримых преимущества: он красноречив и занимателен и один из первых в своей профессии. Его с полным основанием считают самым искусным врачом на востоке Франции и нередко вызывают в Страсбург, в Майнц, в Лилль; только три дня назад он возвратился из Брюсселя.

– Так вы вызвали бы его, если бы опасно заболели?

– Я бы поостерегся. Хорошее лекарство, данное не вовремя, лишило бы «*Aurore*» единственного из ее редакторов, которому, по его выражению, никогда не сидится спокойно.

– Все они, говорите вы, люди смелые?

– Конечно. Притом многие из них даже умнее меня, но не для всех единственным предметом любви является счастье Франции и республики.

Люсьену пришлось выслушать от славного Готье то, что парижская молодежь называет «тартинкой», то есть скучнейшую тираду об Америке, о демократии, о префектах, обязательно избираемых центральной властью из среды членов генеральных советов, и т. д.

Слушая эти рассуждения, ставшие уже общим местом, он думал: «Какая разница в умственном складе между Дю Пуарье и Готье! А между тем второй, вероятно, настолько же честен, насколько первый – плут. Несмотря на мое уважение к Готье, я смертельно хочу спать. Могу ли я после этого назвать себя республиканцем? Это доказывает мне, что я не создан для того, чтобы жить при республиканском строе; это было бы для меня тиранией всяких посредственностей, а я не в состоянии хладнокровно выносить даже самую почтенную посредственность. Мне нужно, чтобы первый министр был мошенником, и притом занятым, как Вальполь или господин де Талейран».

В это время Готье закончил свою речь словами:

– ...но у нас, во Франции, нет американцев.

– Возьмите мелкого руанского или лионского торговца, скупца, лишенного воображения, – вот вам и американец.

– Ах, как вы меня огорчаете! – воскликнул Готье, печально подымаясь и уходя, так как пробило уже час.

– *Гренадер, меня ты мучишь*, – запел Люсьен, когда Готье ушел. – *И однако, я уважаю вас от всего сердца*. – Он призадумался.

«Визит этого лекаря, – решил он, – комментарий к отцовскому письму... С волками жить – по-волчьи выть. Господин Дю Пуарье, очевидно, хочет обратить меня в их веру. Ну что ж, я доставлю им это удовольствие... Я только что нашел простое средство заткнуть глотку этим мошенникам: на их высокую доктрину, на их лицемерные призывы к совести я отвечу скромным вопросом: „А что вы мне дадите за это?“»

Глава девятая

На следующий день рано утром доктор Дю Пуарье, эта неутомимая душа, постучался в дверь Люсьена. Он решил избежать встречи с Биларом, так как намеревался пустить в ход такие аргументы, которыми удобнее всего пользоваться с глазу на глаз, чтобы в случае надобности иметь возможность отречься от них.

«Если я перестану рассуждать как плут, – подумал Люсьен при виде Дю Пуарье, – то этот плут начнет меня презирать».

Доктор хотел его соблазнить: он стал перечислять молодому человеку, лишенному общества и, по его предположению, умирающему от скуки, светские дома и имена красивых женщин Нанси. «А, мошенник, я раскусил тебя!» – подумал Люсьен.

– Что меня больше всего интересует, мой дорогой, – сказал он с мрачным видом купца, подсчитывающего свои убытки, – что меня больше всего интересует, это ваши проекты реформы Гражданского кодекса и раздела наследства: это может отразиться и на моих имущественных интересах, ибо я тоже имею *«несколько арпанов на солнышке»*. – Люсьен с наслаждением заимствовал у доктора его провинциальные обороты речи. – Вы, значит, хотели бы, чтобы после смерти отца семейства раздел не производился поровну между сыновьями?

– Конечно, сударь, в противном случае нам предстоит испытать на себе все ужасы демократии. Умному человеку придется, под страхом смерти, угождать своему соседу, спичечному торговцу. Наши знатнейшие дворянские фамилии, надежда Франции, единственные, сохраняющие благородные чувства и возвышенный образ мыслей, живут в настоящее время в деревне и рожают много детей; неужели мы будем свидетелями, как состояние их будет раздроблено и поделено на мелкие части между всеми этими детьми? В таком случае у них уже не будет свободного времени на воспитание в себе тонких чувств, не будет времени предаваться высоким мыслям, им придется думать только о деньгах, они станут презренными пролетариями, вроде сына их соседа-типографщика. Но, с другой стороны, что нам делать с младшими сыновьями, как определить их сублейтенантами в армию после тех неограниченных возможностей повышения по службе, которые были предоставлены этим проклятым унтер-офицерам?

Впрочем, это второстепенный вопрос; мы поговорим о нем позднее; вы можете вернуться к монархии, только если дадите церкви прочную организацию, если у вас будет по меньшей мере один священник для обуздания ста крестьян, из которых ваши нелепые законы сделали анархистов. Я сделал бы пастырем по крайней мере одного из сыновей каждого добропорядочного дворянина, чему пример подает нам Англия.

Я говорю, что даже среди простонародья раздел наследства не должен быть равным. Если вы не будете бороться с этим злом, скоро все наши крестьяне станут грамотными; тогда, можете не сомневаться, объявятся писатели-баламутчики; все сделается предметом обсуждения, и вскоре не останется ни одного священного принципа. Надо, значит, внедрять в общее сознание эту мысль под тем предлогом, что в интересах самого земледелия землю нельзя будет дробить на участки меньше одного арпана...

Возьмем для примера то, что мы знаем, это всегда наиболее верный путь. Рассмотрим поближе интересы знатных нансийских фамилий...

«Ах, плут!» – подумал Люсьен.

Вскоре доктор стал ему настойчиво доказывать, что госпожа де Сов д'Окенкур – самая соблазнительная женщина в городе, что невозможно быть умнее госпожи де Пюи-Лоранс, которая в прежнее время блистала в Париже в обществе госпожи де Дюрас³². Затем доктор значи-

³² Клер де Дюрас (1777–1828) – французская писательница. Ее салон посещала избранная аристократия времен Реставрации.

тельно более серьезно добавил, что госпожа де Шастеле представляет собой отличную партию, и принялся подробно перечислять все ее богатства.

– Дорогой доктор, если бы у меня на уме была женитьба, мой отец подыскал бы мне кое-что получше: в Париже найдется не одна невеста, которая богаче всех этих дам, взятых вместе.

– Но вы упускаете из виду одно маленькое обстоятельство, – возразил доктор с улыбкой превосходства, – знатность происхождения.

– Конечно, она имеет цену, – ответил Люсьен с видом человека, взвешивающего сделанное ему предложение. – Молодая особа, носящая фамилию Монморанси или Ла Тремуйль, в моем положении, не уступает обладательнице ста или даже двухсот тысяч франков. Если бы я сам носил фамилию, которую можно было бы выдавать за дворянскую, то громкое имя моей жены, пожалуй, было бы равноценно ста тысячам экю. Но, дорогой доктор, о вашем провинциальном дворянстве никто не знает уже в тридцати лье от города, где оно живет.

– Как, милостивый государь, – с негодованием воскликнул доктор, – и о госпоже де Коммерси, родственнице австрийского императора, которая является потомком древних властителей Лотарингии?

– Никто решительно, дорогой доктор, так же как о господине Гонтроне или о господине де Бербале, которых не существует. Потому что провинциальное дворянство известно в Париже лишь по смешным выступлениям трехсот депутатов, составлявших клику господина де Виллеля. Я совсем не думаю о женитьбе, я предпочел бы ей в данный момент заключение в тюрьме. Если бы я был настроен иначе, отец откопал бы для меня дочь какого-нибудь голландского банкира, которая была бы в восторге от перспективы блистать в качестве хозяйки в салоне моей матери и поторопилась бы выложить за это удовольствие миллион, или два, или даже три.

У Люсьена был действительно плутовской вид, когда он, глядя на доктора, произнес последние слова.

Это слово *миллион* произвело на доктора впечатление, явно отразившееся на его лице. «Он недостаточно бесстрастен, чтобы быть хорошим политиком», – сказал себе Люсьен. Никогда еще доктор не встречал молодого человека, выросшего в богатстве и совершенно не лицемерящего; он начинал удивляться Люсьену и восхищаться им.

Доктор был очень умен, но никогда не бывал в Париже, иначе он разгадал бы притворство. Люсьен по своей природе не способен был провести такого плута; наш корнет отнюдь не был хорошим комедиантом, он только держался непринужденно и чувствовал себя в ударе.

Подобно всем людям, сделавшим иезуитизм своей профессией, доктор преувеличивал значение Парижа; он представлял его себе сплошь населенным безбожниками – неистовыми, вроде Дидро, или насмешливыми, вроде Вольтера, и могущественными отцами-иезуитами, которые сооружают семинарии, размерами превосходящие казармы. Точно так же он создал себе преувеличенное представление и о Люсьене: он считал его совершенно *бессердечным*. «Таким речам нельзя научиться, – решил доктор и начал с уважением относиться к нашему герою. – Если бы этот юноша прослужил четыре года в полку и два раза побывал в Праге или в Вене, он стоил бы больше наших д'Антенгов или Роллеров. По крайней мере, находясь в *своей среде*, он не впадал бы в пафос».

После трех недель вынужденного уединения, оказавшегося не таким уж скучным благодаря постоянному присутствию доктора, Люсьен в первый раз вышел из дому и направился к почтмейстерше, к добрейшей мадемуазель Пришар, знаменитой ханже. Там, присев под предлогом усталости, он с благоразумно-скромным видом завязал с нею разговор, кончившийся тем, что он подписался на «Quotidienne», на «Gazette», на «Mode» и т. д. Славная почтмейстерша с почтением взидала на чрезвычайно изящного молодого человека в мундире, подписавшегося на столько газет, и притом каких газет!

Люсьен понял, что в полку, придерживавшемся умеренных взглядов, все роли были выгоднее роли республиканца, то есть человека, сражавшегося за правительство, которое не

платит жалованья. Многие почтенные депутаты буквально не понимают такой нелепости и находят это «безнравственным»³³.

«Совершенно очевидно, – размышлял Люсьен, – что, если я останусь рассудительным человеком, у меня не будет и самого плохого салона, куда я мог бы пойти скоротать вечер. Если верить доктору, все здешние обитатели, кажется, слишком безрассудны и слишком глупы, чтобы внять голосу рассудка. В своих речах они пользуются только превосходной степенью. Не менее пошло быть и представителем умеренных взглядов, вроде полковника Малера, и ждать каждое утро, чтобы почта принесла тебе известие об очередной пошлости, которую придется проповедовать целые сутки. Будучи республиканцем, я только что дрался, чтобы доказать, что не разделяю республиканских убеждений; мне остается одно – прикинуться сторонником сословных привилегий и церкви, являющейся их опорой.

Такова роль, предуганная мне состоянием моего отца. Всякий богач, если только он не обладает таким же обширным, изумительным умом, как у моего отца, может быть только *консерватором*. Мне возразят, что я носитель простой, буржуазной фамилии. Я в ответ намекну на количество моих лошадей и на их достоинства. В самом деле, разве тем небольшим уважением, которым я здесь пользуюсь, я не обязан исключительно моей лошади? Да еще не потому, что она хороша, а потому, что за нее дорого заплачено. Полковник Малер де Сен-Мегрен преследует меня; черт возьми, я попытаюсь одержать над ним верх, опираясь на мое положение в свете!

Этот лекарь, вероятно, будет мне очень полезен; он, по-моему, из тех людей, которые привязываются к лицам привилегированным, беря на себя заботу думать за них, как это делают в Париже господа N. и N. Такова была когда-то роль Цицерона при римских патрициях, выродившихся и впавших в ничтожество в результате целого века счастливого господства аристократии. Было бы весьма забавно, если бы этот курьезный доктор в глубине души верил в Генриха Пятого не больше, чем он верит в Господа Бога».

Суровая добродетель господина Готье, пожалуй, нашла бы серьезные доводы против этого слишком легкомысленно принятого решения; но господин Готье напоминал собою тех добродетельных женщин, которые дурно отзываются об актрисах: он был скучен, говоря о лицах, слывших весьма занятыми людьми.

Вечером того же дня, когда Люсьен познакомился с мадемуазель Пришар, у него сидел доктор; он ораторствовал на тему о рабочих тоном взбешенного Ювенала; говорил о их несомненной нужде и о том, что они, возбужденные якобинскими памфлетами, должно быть, сбросят с престола Людовика-Филиппа. Вдруг, когда часы пробили пять, доктор, оборвав себя на половине фразы, поднялся с места.

– Что с вами, доктор? – спросил сильно удивленный Люсьен.

– Это время вечерней молитвы, – спокойным голосом ответил добрейший доктор, набожно опуская маленькие глазки.

Люсьен громко расхохотался. Сам огорченный своей выходкой, он попробовал извиниться перед врачом, но им снова овладел приступ сумасшедшего смеха, слезы выступили у него на глазах, и он, уже совершенно плача, переспросил доктора:

– Скажите, бога ради, куда вы идете? Я не расслышал ваших слов.

– К вечерней молитве, в часовню Кающихся. – И доктор с важным видом знатока объяснил ему сущность этой религиозной церемонии.

«Это бесподобно! – подумал Люсьен, стараясь как-нибудь продлить объяснение и скрыть от врача, что он задыхается от еле сдерживаемого смеха. – Этот человек – мой благодетель; без него я впал бы в маразм. Надо, однако, что-нибудь ему сказать, иначе он обидится».

– Что стали бы говорить обо мне, дорогой доктор, если бы я пошел с вами?

³³ С подлинным верно. – Примеч. автора.

– Ничто не сделало бы вам больше чести, – спокойно ответил лекарь, нисколько не рассердившись на безумный хохот Люсьена. – Но я должен по совести воспротивиться этой второй прогулке, как протестовал против первой; свежий вечерний воздух может снова вызвать воспаление, а если мы раздражим артерию, вам придется подумать о дальнем путешествии.

– Других возражений у вас нет?

– Вы станете предметом вольтеррианских насмешек со стороны ваших однополчан.

– Пустяки! Я их не боюсь: в этих людях слишком много низкопоклонства для этого. Полковник в первую же субботу по прибытии нашем в город объявил нам в строю с многозначительным видом, что он идет к мессе.

– И тем не менее девять из числа ваших сослуживцев в последнее воскресенье отсутствовали в церкви. Но, право, какое вам дело до насмешек! В Нанси всем известно, как вы умеете пресекать их. К тому же ваше благоразумное поведение уже принесло свои плоды. Не далее как вчера, когда у маркиза де Понлеве кто-то высказал мнение, будто вы являетесь одним из столпов читальни этого вольнодумца Шмидта, госпожа де Шастеле изволила выступить в вашу защиту. Ее горничная, которая проводит весь день у окон, выходящих на улицу Помп, сказала ей, что полковник Малер де Сен-Мегрен совсем напрасно устроил вам сцену по этому поводу, что никогда она не замечала, чтобы вы посещали это заведение, и что когда вы, элегантный, хорошо одетый, проезжаете на прекрасном коне, стоящем тысячу экю, вы совсем не похожи... простите, это слова горничной, более справедливые, чем изысканные... – И доктор замаялся.

– Полно, полно, дорогой доктор, я обижаюсь лишь на то, что может мне повредить.

– Ну что ж, если вы настаиваете, я доскажу: что вы совсем не похожи на *республиканское мужичье*.

– Признаюсь вам, сударь, – чрезвычайно серьезно ответил Люсьен, – я никак не мог бы заставить себя заниматься чтением в какой-то лавке. – (Слово «лавка» было выбрано очень удачно; уроженец Сен-Жерменского предместья не выразился бы лучше.) – Через несколько дней, – продолжал Люсьен, – я могу предложить вам несколько газет, в чтении которых порядочный человек может открыто признаться.

– Знаю, сударь, знаю! – не без провинциального самодовольства воскликнул врач. – Почтмейстерша, вполне благомыслящая особа, сегодня утром сообщила нам, что вскоре мы будем иметь в Нанси пятый экземпляр «Quotidienne».

«Это уж слишком, – подумал Люсьен. – Не издевается ли надо мной этот чудак?» Слова «пятый экземпляр „Quotidienne“» были произнесены с оттенком горечи, рассчитанным на то, чтобы задеть тщеславие нашего героя.

В этом отношении, как и в целом ряде других, Люсьен был еще молод, то есть несправедлив; убежденный в правоте своих взглядов, он был уверен, что познал уже все на свете, а между тем едва ли видел и четверть того, с чем следовало бы познакомиться поближе. Откуда мог он знать, что эти мелкие штрихи так же необходимы для провинциального лицемерия, как они были бы смешны в Париже? А так как доктор жил в провинции, он имел все основания изъясняться на языке провинциалов.

«Я скоро увижу, издевается ли надо мной этот человек», – подумал Люсьен. Он кликнул слугу, чтобы тот завязал ему изящными черными лентами разрезанный правый рукав его мундира, и отправился вместе с доктором к вечерней молитве. Эта религиозная церемония происходила у Кающихся, в хорошенькой церковке, чисто выбеленной и не имевшей никакого убранства, кроме нескольких исповедален из отполированного орехового дерева. «Бедный храм, но отменного вкуса», – подумал Люсьен. Вскоре он убедился, что здесь бывает одна только знать (вся буржуазия на востоке Франции настроена патриотически).

Люсьен заметил, как церковный сторож подал монетку неплохо одетой простолюдинке, которая, увидев отпертую церковь, собралась было войти в нее.

– Ступайте, ступайте, – сказал сторож, – это частная часовня.

Милостыня, очевидно, оказалась оскорблением: женщина покраснела до корней волос и выронила су; сторож оглянулся, не смотрят ли на него, и положил монету обратно себе в карман.

«Все окружающие меня женщины и несколько мужчин, – подумал Люсьен, – производят вполне приличное впечатление; доктор смеется надо мной не больше, чем надо всем остальным на свете; это все, на что я вправе претендовать». Удостоверившись, что его тщеславию ничто не угрожает, Люсьен сразу нашел вокруг себя неисчерпаемый материал для развлечения. «Здесь то же, что в Париже, – решил он. – Знать воображает, будто при помощи религии легче всего управлять народом. А мой отец того мнения, что именно ненависть народа к священникам вызвала падение Карла Десятого. Выказав себя набожным, я тем самым приобщусь к знати».

Он заметил, что у всех в руках были молитвенники. «Мало прийти сюда, надо держаться здесь как все остальные». Он обратился за помощью к доктору. Дю Пуарье тотчас же покинул свое место и, подойдя к графине де Коммерси, попросил у нее один молитвенник из тех, которые ее компаньонка имела при себе в бархатном мешочке. Затем он возвратился с великолепным ин-кварти и принялся объяснять Люсьену значение гербов, вытисненных на роскошном переплете. Часть щита была занята изображением орла Габсбургского дома; графиня де Коммерси действительно принадлежала к Лотарингскому дому, но к старшей ветви его, несправедливо обойденной, и по каким-то довольно неясным основаниям почитала себя даже более знатного происхождения, нежели император австрийский. Слушая все эти интересные вещи, Люсьен, убежденный, что на него смотрят, и больше всего опасаясь громко расхохотаться, внимательно разглядывал безногих и бесклювых лотарингских орлят, тисненных холодным способом на переплете.

К концу службы Люсьен, чей стул стоял почти рядом со стулом доктора, убедился, что, не проявляя ни малейшей нескромности, он мог открыто слушать беседу, которую вели с Дю Пуарье пять-шесть дам или девиц – все особы зрелого возраста. Дамы эти обращались к *добрейшему*, как они его называли, доктору, но было совершенно очевидно, что весь диалог имел своим единственным предметом блестящий военный мундир, присутствие которого в часовне Кающихся явилось событием этого вечера.

– Это тот молодой офицер, миллионер, который две недели тому назад дрался на дуэли, – шепотом произнесла дама, сидевшая в трех шагах от доктора. – Он производит впечатление человека благомыслящего.

– Но был слух, что он смертельно ранен! – ответила ее соседка.

– Добрейший доктор спас его на самом краю могилы, – прибавила третья.

– Разве не говорили, что он республиканец и что командир его полка искал случая погубить его посредством дуэли?

– Вы же видите, что это неверно, – возразила с явным видом превосходства первая. – Вы же видите, что это неверно: он из наших.

Но вторая дама колко ответила:

– Можете говорить что угодно, моя дорогая, но меня уверяли, что он близкий родственник Робеспьера, который был уроженцем Амьена; Левен – северная фамилия.

Люсьен сознавал себя главным предметом беседы; наш герой не устоял против такого счастья: вот уж несколько месяцев, как ничего подобного с ним не случалось. «Я слишком занимаю собой провинциалов, – подумал он, – чтобы рано или поздно доктор не представил меня этим дамам, которые оказывают мне честь, принимая меня за родственника покойного господина Робеспьера. Я буду проводить вечера в салонах, слушая то же, что слушаю здесь, и мой отец станет уважать меня; я пойду так же далеко, как Мелине. С этими почтенными особами можно себе позволить все, что ни взбредет в голову; здесь нечего опасаться быть смешным: они никогда не станут подтрунивать над тем, что потворствует их причудам». В эту минуту зашла речь о подписке в пользу знаменитого Кошена, который два-три раза в год

проявляет первоклассный талант и спасает партию от нелепого положения. Как и все гениальные люди, поглощенные одною высокою мыслью, господин Кошен мог оказаться вынужденным продать свои земли.

– Я охотно пожертвовала бы луидор, – говорила одна из странных личностей, окружавших доктора (при выходе из церкви Люсьен узнал, что это была маркиза де Марсильи). – Этот господин Кошен все-таки не из *благородных* (недворянин). При мне только золото. Я просила бы добрейшего доктора прислать мне завтра свою служанку после мессы, в половине девятого утра, и я ей вручу кое-какую сумму.

– Ваша фамилия, маркиза, – ответил с весьма довольным видом доктор, – как раз откроет собою четырнадцатую страницу моего большого реестра с эластичным корешком, который я, вернее, мы получили в подарок от наших парижских друзей.

«Я здесь – как господин Жабало в Версале: я в *центре внимания*», – сказал себе Люсьен, разгоревшись от успеха. Действительно, все взоры были прикованы к его мундиру. Заметим в оправдание нашего героя, что со времени своего отъезда из Парижа он ни разу не был в светской гостиной; а жить без остроумной беседы – это ли *счастливая жизнь*?

– А я, – громко вмешался он в разговор, – осмелюсь попросить господина Дю Пуарье подписать меня на сорок франков. Но мне хотелось бы, чтобы моя фамилия стояла сразу же после фамилии маркизы: это принесет мне счастье.

– Прекрасно, отлично, молодой человек! – воскликнул слащаво-пророческим тоном Дю Пуарье.

«Если мои однополчане узнают об этом, – подумал Люсьен, – не миновать второй дуэли: упреки в ханжестве градом посыплются на меня. Но как могут они узнать? Им нет доступа в это общество. Разве только командир полка проведает через своих шпионов. Что же, тем лучше: слыть ханжой лучше, чем слыть республиканцем».

К концу богослужения Люсьену пришлось принести немалую жертву: несмотря на то что на нем были белые рейтузы исключительной чистоты, он должен был преклонить колена, опустившись на грязный каменный пол часовни Кающихся.

Глава десятая

Вскоре все вышли из церкви, и Люсьен, убедившись, что рейтузы у него безнадежно испачканы, направился домой. «Впрочем, может быть, эта маленькая неприятность вменится мне в заслугу», – подумал он. И нарочно пошел не спеша, стараясь не обгонять праведных жен, медленно, небольшими группами двигавшихся по безлюдной, заросшей сорняком улице.

«Интересно было бы знать, что предосудительного мог бы в этом найти командир полка?» – задал себе вопрос Люсьен, когда к нему подошел врач; и так как он не был великий мастер притворяться, он позволил своему новому приятелю угадать свою мысль.

– Ваш полковник – типичный представитель пошлой умеренности, мы хорошо знаем его, – авторитетно заявил Дю Пуарье. – Это голыш, вечно трепещущий, что прочтет в «Moniteur» известие о своей отставке. Но я не вижу здесь однорукого офицера, этого *либерала*, награжденного орденом под Бриенном, его шпиона.

Подшли уже к концу улицы, и Люсьен, шагавший медленно и все время прислушивавшийся к разговорам, которые велись на его счет, испугался, как бы не выдать своей радости каким-нибудь неосторожным движением. Он позволил себе отвесить весьма почтительный полупоклон трем дамам, шедшим почти рядом с ним и беседовавшим очень громко.

Крепко пожав руку доктору, он удалился.

Сев на коня, он дал волю безумному смеху, душившему его уже целый час. Проезжая мимо читальни Шмидта, он подумал: «Вот оно – удовольствие быть ученым!» За зеленоватым стеклом окна он заметил однорукого либерала-офицера, державшего перед собой номер «Tribune» и скосившего глаза в его сторону, когда он поравнялся с лавкой.

На другой день в высшем обществе Нанси только и было разговора, что о появлении военного мундира в часовне Кающихся, и притом мундира с распоротым правым рукавом, затянутым лентами; этот молодой человек недавно едва не предстал перед господом. То был день торжества для Люсьена.

Он не рискнул пойти в половине девятого к мессе без пеня. «Это может иметь последствия, – подумал он, – мне пришлось бы ходить в часовню всякий раз, когда я буду свободен от службы».

Часов в десять утра он торжественно отправился покупать требник или молитвослов в роскошном мюллеровском переплете. Он не пожелал, чтобы ему завернули книгу в шелковую бумагу: он нашел, что будет забавнее, если он гордо понесет ее, держа под мышкой. «Трудно было бы придумать что-нибудь лучшее даже в расцвете Реставрации; я подражаю маршалу N., нашему военному министру».

«С провинциалами можно позволить себе все, – сказал он себе со смехом. – Дело в том, что здесь нет никого, кто назвал бы смешное своим настоящим именем». С книгой под мышкой он лично отнес свои сорок франков господину Дю Пуарье, и тот разрешил ему ознакомиться со списком жертвователей. Верхняя часть каждой страницы была заполнена фамилиями с частицей «де», и одно лишь имя Люсьена, по лестной для него случайности, составляло исключение, начав собою страницу, непосредственно следовавшую за той, на которой красовалось имя госпожи де Марсильи.

Провожая его, господин Дю Пуарье глубокомысленно произнес:

– Будьте уверены, мой дорогой, отныне ваш полковник не заставит вас стоять, когда вызовет вас к себе для объяснений; он будет с вами по крайней мере вежлив; что же касается благожелательности, за это не поручусь.

Никогда еще, кажется, предсказание не исполнялось с такой быстротой. Несколько часов спустя командир полка, которого Люсьен издали заметил на прогулке, знаком предложил ему приблизиться и пригласил его завтра пообедать с ним. Люсьен нашел, что у него грубые манеры

мещанина, желающего стать с собеседником на короткую ногу. «Несмотря на его блестящий мундир и на отвагу, этот человек смахивает на церковного старосту, приглашающего на обед соседа-попечителя».

Когда он уже собирался удалиться, полковник сказал ему:

– У вашего коня изумительные лопатки; для таких ног два лье – сущий пустяк. Разрешаю вам делать ваши прогулки до Дарне. (Это местечко в шести лье от Нанси.)

«О всемогущество шарлатанства!» – воскликнул про себя Люсьен, приснув со смеху, и поскакал галопом в сторону Дарне.

Вторая часть дня принесла Люсьену еще большее торжество. Дю Пуарье захотел во что бы то ни стало представить его графине де Коммерси, той самой даме, которая накануне дала для него молитвенник.

Особняк Коммерси, расположенный в глубине большого двора, только частично вымощенного камнем и окруженного подстриженными липами, производил на первый взгляд довольно унылое впечатление; но за домом Люсьен заметил английский сад с очаровательно свежей зеленью, в котором он прогулялся бы с удовольствием. Его приняли в просторной гостиной, обитой красным шелком и золотым багетом. Шелк немного вылинял, но выцветшие места были прикрыты отличными семейными портретами. Изображенные на них особы были в белых париках. Огромные кресла с сильно покореженными деревянными частями, сверкавшими позолотой, внушили почти трепет Люсьену, когда он услышал обращенные к лакею сакраментальные слова графини де Коммерси: «Кресло гостю». К счастью, не в обычаях дома было сдвигать с места эти почтенные махины: Люсьену придвинули современное кресло превосходной работы.

Графиня была высокого роста женщина, худая и державшаяся, несмотря на преклонный возраст, очень прямо. Люсьен обратил внимание на ее кружева, которые вовсе не пожелтели; он питал отвращение к пожелтевшим кружевам. Что касается физиономии дамы, в ней не было ничего примечательного. «Черты ее лица не отличаются благородством, но она умеет придавать им благородное выражение», – подумал Люсьен.

Беседа, как и обстановка, была благородна, однообразна, протекала медленно, без особых странностей. В общем, Люсьену могло показаться, что он находится где-нибудь в Сен-Жерменском предместье, в доме у старых людей. Госпожа де Коммерси не говорила слишком громко, не жестикулировала чрезмерно, как это делала светская молодежь, которую Люсьен встречал на улицах. «Это обломок века учтивости», – подумал Люсьен.

Госпожа де Коммерси с удовольствием подметила восхищенные взоры, которые Люсьен бросал на ее сад. Она объяснила ему, что ее сын, двенадцать лет проживший в Гартвеле (дворце Людовика XVIII в Англии), велел сделать точную копию с него, но только меньших размеров, как подобает частному лицу. Госпожа де Коммерси предложила Люсьену приходить иногда прогуляться в этом саду.

– Сюда ходят многие и не считают себя при этом обязанными навещать старуху-владелицу. У моего привратника есть список лиц, которым открыт доступ в сад.

Люсьен был тронут этим знаком внимания, и, так как он был человек душевно тонкий, в его ответе прозвучали нотки искренней признательности. После того как ему так просто оказали любезность, ему не пришло бы на ум над чем-нибудь смеяться; он чувствовал себя возрожденным. Уже несколько месяцев, как Люсьен не видел светского общества.

Когда он встал, чтобы откланяться, госпожа де Коммерси сочла возможным, не уклоняясь от господствовавшего в их беседе тона, сказать ему:

– Признаюсь вам, сударь, я впервые вижу у себя в гостиной кокарду, которая на вас, но я была бы рада, если бы вы дали мне возможность видеть ее почаще. Мне всегда доставит удовольствие принять у себя человека со столь изысканными манерами, который, несмотря на свою крайнюю молодость, отличается таким благомыслием.

«И все это только потому, что я ходил к Кающимся!» Люсьену так хотелось расхохотаться, что он с трудом удержался от безрассудного желания дать по пятифранковой монете всем лакеям, выстроившимся шпалерами в передней при его проходе.

Эта двойная шеренга лакеев молча подсказала Люсьену, что ему надлежало сделать. «Для человека, начавшего благонамеренно мыслить, иметь только одного слугу – значит вести себя крайне необдуманно». Он обратился с просьбой к господину Дю Пуарье подыскать ему трех *надежных молодых людей*, но непременно благонамеренных.

Возвратившись домой, Люсьен напоминал собою брадобрея царя Мидаса³⁴: он умирал от желания рассказать о своей удаче. Он написал страниц десять матери, прося прислать ему пять-шесть великолепных ливрей для лакеев. «Выкладывая за них деньги, отец убедится, что я еще не стал сенсимонистом чистой воды».

Несколько дней спустя госпожа де Коммерси пригласила Люсьена на обед. В гостиной, куда он постарался явиться ровно в половине четвертого, он застал господина и госпожу де Серпьер с одною из шести дочерей, господина Дю Пуарье и двух-трех почтенного возраста дам с мужьями, большей частью кавалерами ордена Святого Людовика. Кого-то, по-видимому, поджидали; вскоре лакей доложил о приходе господина и госпожи де Сов д'Окенкур. Люсьен был поражен. «Нет на свете женщины красивее, чем она, – решил он. – Впервые молва ничуть не солгала». В ее глазах была какая-то бархатистость, жизнерадостность и естественность, доставлявшая почти блаженство всякому, кто имел удовольствие глядеть на них. Присмотревшись получше, Люсьен, однако, нашел в этой обольстительной женщине один недостаток: у нее была некоторая склонность к полноте, хотя ей было не больше двадцати пяти – двадцати шести лет. За нею вошел высокого роста молодой блондин с жиденькими усиками, очень бледный, надменный и молчаливый; это был ее муж. Господин д'Антен, ее любовник, явился вместе с ними. За столом его посадили по правую руку от нее; она довольно часто заговаривала с ним шепотом, а потом смеялась. «Этот непритворно веселый смех составляет странный контраст с угрюмым и старомодным видом остального общества, – подумал Люсьен. – Вот что мы называли бы в Париже весьма рискованной веселостью! Сколько врагов нажила бы себе эта красивая женщина! Даже умные люди осудили бы такое отсутствие застенчивости, способное подвергнуть ее всем ужасным последствиям клеветы. В провинции есть, значит, и свои хорошие стороны! Разве самое существенное не в том, что среди всех этих лиц, рожденных для скуки, *молодая героиня* столь привлекательна? А она, право, обворожительна. Ради такого обеда я согласен двадцать раз сходить к Кающимся».

Как человек благоразумный, Люсьен всячески старался быть учтивым с господином де Сов д'Окенкуром, который гордился тем, что является носителем двух прославившихся фамилий: первой – при Карле IX, второй – при Людовике XIV.

Прислушиваясь к медленным, изысканным и бесцветным речам господина д'Окенкура, Люсьен внимательно разглядывал его жену. Госпоже д'Окенкур можно было дать на вид лет двадцать пять, а то и двадцать четыре. Она была блондинка с большими голубыми, восхитительно живыми, отнюдь не томными глазами, приобретающими томное выражение, лишь когда ей становилось скучно, но сразу вспыхивавшими от счастья при первой же веселой или просто необычной мысли. Прелестный свежий рот поражал своими тонкими, законченными очертаниями, сообщавшими всему лицу восхитительное благородство. Нос с легкой горбинкой дополнял очарование этого восхитительного лица, ежеминутно менявшего выражение, в зависимости от малейших оттенков чувств, волновавших госпожу д'Окенкур. В ней не было и тени лицемерия; при таком лице оно было бы просто невозможно.

³⁴ Бог Аполлон наделил царя Мидаса ослиными ушами за то, что он отдал предпочтение Пану, когда тот состязался с Аполлоном в игре на свирели. Об ослиных ушах царя Мидаса знал только его брадобрей. Не в силах скрывать тайну, он прокричал ее в отверстие ямы, откуда затем вырос камыш, который шептал об ослиных ушах царя всем прохожим.

В Париже госпожа д'Окенкур слыла бы первой красавицей; в Нанси же в лучшем случае ее признавали красивой. Видя, как обращается с ней госпожа де Серпьер, Люсьен постиг всю глубину ненависти, с которой здесь к ней относились. Он нашел слишком подчеркнутыми и ненависть святош, и безразличие молодой женщины к светской молве. К концу обеда Люсьен относился уже с неподдельной благожелательностью к маркизу д'Антену и к его прелестной любовнице. За кофе господин Дю Пуарье получил возможность осторожно отвечать на многочисленные вопросы, которые ему задавал Люсьен насчет господина д'Окенкура.

– Она искренне обожает своего друга и ради него идет на самые безрассудные поступки; его несчастье – вернее, несчастье для его славы – в том, что, восхищаясь им в течение двух-трех лет, она теперь находит в нем смешные стороны. Вскоре он внушит ей смертельную скуку, которую ничем нельзя будет превозмочь. Это будет зрелище, за которое стоит заплатить деньги: мы увидим, как эта скука подвергнет жестокому испытанию ее доброту; ибо это добрейшее сердце на свете, больше всего опасющееся причинить кому-нибудь настоящее зло. Забавнее всего то (я потом расскажу вам об этом подробнее), что последний из ее любовников влюбился в нее до безумия, влюбился трагически, как раз в тот момент, когда начал ей надоедать. Она была этим горько удручена и полгода не знала, как избавиться от него наиболее человеческим образом. Я видел, что она готова обратиться ко мне за советом по этому поводу; в такие моменты она бесконечно остроумна.

– Сколько же времени тянутся ее отношения с господином д'Антеном? – спросил Люсьен с наивностью, вознаградившей доктора за все его старания.

– Уже тридцать месяцев с лишним; все удивлены, но он столь же легкомысленный человек, как и она; это служит ему поддержкой.

– А как же муж? Мне кажется, здешние мужья из буржуазной среды дьявольски подозрительны.

– Разве вы не заметили, – с комическим простодушием возразил господин Дю Пуарье, – что веселость и умение жить сохранились только в дворянской среде? Госпожа д'Окенкур влюбилась в себя своего мужа до сумасшествия, и он влюблен в нее до такой степени, что не в состоянии сделаться ревнивцем. Она сама распечатывает все адресованные ему анонимные письма.

Люсьен был в восторге от этого диалога, доставлявшего ему двойное удовольствие: он узнавал интересные вещи и вместе с тем не попадался на удочку рассказчика. Беседа внезапно была прервана: его подозвала к себе госпожа де Коммерси. Она официально представила его госпоже де Серпьер, длинной, сухой и набожной женщине, обладательнице весьма ограниченного состояния и матери шести дочерей, которых надо было выдать замуж. У той, что сидела с ней рядом, были белокурые волосы более чем странного оттенка; на девушке, ростом около пяти футов четырех дюймов, было длинное белое платье с зеленым поясом шириною в шесть пальцев, обрисовывавшим как нельзя лучше ее плоскую, худощавую фигуру. Этот зеленый цвет на фоне белого показался Люсьену невероятно безобразным, но он отнюдь не как политик был шокирован дурным вкусом, господствовавшим *за границей*.

– Остальные пять сестер так же соблазнительны, как она? – спросил он, обернувшись к доктору.

Доктор вдруг напустил на себя мрачную серьезность; лицо его, точно по команде, изменило выражение, что чрезвычайно развеселило нашего корнета. Люсьен мысленно повторял придуманную им военную команду, состоявшую из двух приемов: *«плут – мрачней!»*

Между тем Дю Пуарье пространно разглагольствовал о высоком происхождении и о высокой добродетели этих девиц – о весьма почтенных вещах, которые Люсьен никоим образом не собирался оспаривать. После града напыщенных слов доктор наконец высказал свою подлинную мысль ловкого человека:

– К чему злословить о некрасивых женщинах?

– А, ловлю вас на слове, доктор! Это неосторожная фраза: не я, а вы называли мадемуазель де Серпьер некрасивой, и я могу на вас сослаться. – Затем многозначительно и серьезно прибавил: – Если бы я хотел лгать беспрестанно и насчет всего, я ходил бы на званые обеды к министрам: они, по крайней мере, раздают теплые местечки или деньги; но деньги у меня есть, и я не стремлюсь обменять свое место на какое-либо другое. Зачем же раскрывать рот только для того, чтобы лгать, да еще в глухой провинции? И на обеде, на котором присутствует всего лишь одна красивая женщина? Это было бы слишком большим геройством для вашего покорного слуги.

После этой декларации наш герой принялся самым точным образом выполнять указания доктора. Он долгое время любезничал с госпожой де Серпьер и ее дочерью и подчеркнуто держался в стороне от блистательной госпожи д’Окенкур.

Несмотря на свои зловещие волосы, мадемуазель де Серпьер оказалась простой, рассудительной и даже не злой девушкой, что несказанно удивило Люсьена. После получасовой беседы с матерью и дочерью он с сожалением расстался с ними, чтобы последовать совету, который дала ему госпожа де Серпьер: подойдя к госпоже де Коммерси, он попросил ее представить его другим пожилым дамам, находившимся в салоне. Во время этих скучных разговоров он издали смотрел на мадемуазель де Серпьер и теперь находил ее значительно менее шокирующей хороший вкус. «Тем лучше, – решил он, – моя роль благодаря этому будет менее трудна; я могу издеваться над доктором, но я должен верить ему: я могу кое-как ужиться в этом аду, лишь угождая старости, уродству и чудачеству. Часто разговаривать с госпожой д’Окенкур значило бы, увы, претендовать на слишком многое мне – недворянину, человеку в этом обществе никому не известному. Прием, оказанный мне сегодня, поразителен по своей сердечности: под ним, должно быть, что-то кроется».

Госпожа де Серпьер была до такой степени довольна учтивостью корнета, вскоре снова возвратившегося к ней и подсевшего к столу, за которым она играла в бостон, что не только не нашла его якобинцем и *иольским героем* (таково было ее первое слово о нем), но даже признала его манеры изысканными.

– Каково в точности его имя? – осведомилась она у госпожи де Коммерси.

Она была весьма огорчена, когда после ответа госпожи де Коммерси получила роковую уверенность в буржуазном происхождении Люсьена.

– Почему он не взял, как это делают все ему подобные, в качестве фамилии название своей родной деревни? Они должны об этом позаботиться, если хотят, чтобы их принимали в хорошем обществе.

Добрейшая Теодолинда де Серпьер, к которой были обращены последние слова, страдала с самого начала обеда за Люсьена, все время испытывавшего затруднения из-за невозможности пользоваться правой рукой.

Когда в гостиную вошла почтенного вида дама, госпожа де Серпьер посоветовала ему пойти представиться ей и, не дожидаясь ответа, принялась объяснять ему всю древность фамилии Фюроньер, которую носила вновь прибывшая дама, отлично слышавшая все, что о ней говорилось.

«Это смехотворно, – подумал Люсьен, – особенно когда с такими речами обращаются ко мне, человеку заведомо простого происхождения, человеку, которого видят в первый раз и с которым хотят быть любезными. В Париже мы сочли бы это бестактностью, но в провинции люди меньше стесняются».

Едва Люсьен успел представиться госпоже де Фюроньер, как госпожа де Коммерси подозвала нашего героя, чтобы представить его еще одной только что прибывшей даме. «Всем им придется делать визиты, – думал Люсьен при каждой новой церемонии представления. – Надо будет записать все эти фамилии с некоторыми геральдическими и историческими подробностями, иначе я их пере забуду и совершу какую-нибудь чудовищную неловкость. Основным

содержанием моей беседы с этими новыми знакомыми дамами будут обращенные непосредственно к каждой из них расспросы о новых для меня подробностях их знатного происхождения».

На следующий же день Люсьен, в тильбюри, в сопровождении двух лакеев, ехавших верхом, принялся развозить свои визитные карточки дамам, которым он имел честь был представлен накануне. К его великому удивлению, он был принят почти везде; его хотели видеть лично, и все эти дамы, знавшие о том, что с ним случилось, с чрезвычайным сочувствием говорили о его ране. Всюду он держался подобающим образом, но к госпоже де Серпьер приехал полумертвый от скуки. Он утешался тем, что встретит опять мадемуазель Теодолинду, высокую девушку, с которой познакомился вчера и которая с первого взгляда показалась ему такой некрасивой.

Лакей в светло-зеленой, слишком долгополой ливрее ввел его в огромную гостиную, прилично обставленную, но плохо освещенную. При его появлении все семейство поднялось со своих мест. «Это результат их привычки оживленно жестикулировать», – решил он; и хотя роста Люсьен был вполне приличного, он оказался едва ли не ниже всех присутствующих. «Теперь я понимаю, почему у них такая огромная гостиная, – подумал он, – в обыкновенной комнате это семейство не могло бы поместиться».

Отец, седовласый старец, удивил Люсьена. Костюмом и манерами он в точности напоминал *благородного отца* из труппы провинциальных комедиантов. Он носил крест Святого Людовика на чрезмерно длинной ленте с широкой белой каймой, указывавшей, по-видимому, на принадлежность к ордену Лилии. Он говорил очень хорошо, с некоторой снисходительностью, подобающей семидесятидвухлетнему дворянину. Все шло как нельзя лучше до того момента, когда, рассказывая о прожитой жизни, он упомянул о том, что был наместником короля в Кольмаре.

При этих словах Люсьен испытал настоящий ужас, должно быть, помимо его воли отразившийся на простом и добром его лице, ибо старик поторопился объяснить ему чистосердечно, без малейшей обиды, что его не было в Кольмаре во время дела полковника Карона³⁵.

Волнение заставило Люсьена позабыть обо всех своих планах. Он приехал с намерением посмеяться над этими рыжеволосыми сестрами, – ростом каждая с гренадера, – над этой вечно чем-то недовольной, вечно брюзжащей матерью, стремящейся при таком милом характере выдать замуж всех дочерей. Слова почтенного старика по поводу кольмарского дела наложили печать неприкосновенности на весь его дом; с этой минуты для Люсьена здесь не было уже ничего, способного вызвать насмешку.

Мы просим благосклонного читателя принять во внимание, что наш герой еще очень молод, совсем новичок, юнец, лишенный всякого опыта; все это не мешает нам испытывать некоторое затруднение, так как мы принуждены сознаться, что он по слабости приходил в негодование от некоторых политических событий. В ту пору это была наивная душа, не знавшая самое себя; это вовсе не был человек с крепкой головой на плечах или остроумец, спешащий подвергнуть все резкой критике. В салоне матери, где посмеивались надо всем решительно, он научился издеваться над лицемерием и достаточно хорошо разгадывать его; но при всем том он не знал, чем он станет в один прекрасный день.

Когда в пятнадцать лет он начал читать газеты, мистификация, завершившаяся смертью полковника Карона, была последним громким деянием тогдашнего правительства; она послужила пищей для всех оппозиционных изданий. Эта знаменитая подлость была к тому же совершенно недоступна пониманию мальчика, между тем как ему были известны все ее подробности, словно дело шло о доказательстве геометрической теоремы.

³⁵ *Огюст Жозеф Карон* (1774–1822) – французский полковник. После Реставрации в 1820 г. оказался замешанным в военном заговоре против Бурбонов.

Придя в себя после сильнейшего волнения, охватившего его при слове «Кольмар», Люсьен с интересом стал присматриваться к господину де Серпьеру. Это был красивый старик пяти футов и восьми дюймов росту, державшийся очень прямо; прекрасные белые волосы придавали ему совсем патриархальный вид. У себя дома, в кругу семьи, он носил старинный голубой сюртук со стоячим воротником, совершенно военного покроя. «Он его, по видимому, донашивает», – пришло в голову Люсьену. Эта мысль глубоко растрогала его: он привык к щеголеватым парижским старцам. Отсутствие всякой аффектации, умная, содержательная речь господина де Серпьера окончательно покорили Люсьена; в особенности отсутствие аффектации показалось ему чем-то невероятным в провинции.

В продолжение значительной части своего визита Люсьен уделял гораздо больше внимания этому бравому военному, долго повествовавшему о своих походах в *эмиграции* и о несправедливости австрийских генералов, искавших случая уничтожить эмигрантские корпуса, чем шести рослым девицам, его окружавшим. «Надо, однако, заняться ими», – подумал он наконец. Девушки работали, сидя вокруг единственной лампы, так как в этом году гарное масло было дорого.

Разговаривали они просто. «Можно подумать, – решил Люсьен, – будто они просят прощения за то, что некрасивы».

Они говорили не слишком громко; в самый интересный момент беседы они не наклоняли головы к плечу; они не были постоянно заняты впечатлением, производимым ими на присутствующих; они не распространялись подробно насчет редких качеств или места производства тканей, из которых были сшиты их платья; они не называли картину *великой страницей истории* и т. п. Словом, не будь здесь сухой и злой физиономии их матери, госпожи де Серпьер, Люсьен в этот вечер был бы вполне счастлив и благодушно настроен; впрочем, он вскоре забыл об ее замечаниях и с подлинным удовольствием беседовал с мадемуазель Теодолиндой.

Глава одиннадцатая

В продолжение этого визита, который должен был длиться двадцать минут, а затянулся на два часа, Люсьен не услышал ничего неприятного, кроме нескольких злобных слов госпожи де Серпьер. У этой дамы были крупные черты лица, поблекшие и величественные, но словно застывшие. Ее большие глаза, тусклые и бесстрастные, следили за всеми движениями Люсьена и леденили его. «Боже мой, что за создание!» – подумал он.

Из учтивости Люсьен время от времени покидал группу девиц де Серпьер, сидевших вокруг лампы, чтобы поговорить с бывшим наместником короля. Господин де Серпьер с удовольствием объяснил, что единственное условие, при котором Франция может обрести порядок и спокойствие, заключается в том, чтобы в точности восстановить положение вещей, существовавшее в 1786 году. «Это было начало нашего упадка, – несколько раз повторил славный старик, – *inde mali labes*»³⁶. Ничто не могло быть смешнее этого утверждения в глазах Люсьена, считавшего, что именно с 1786 года Франция стала понемногу выходить из того варварства, в которое она отчасти погружена еще и до сих пор.

Четверо или пятеро молодых людей, несомненно знатного происхождения, появились в гостиной один за другим. Люсьен заметил, что все они становились в позу и элегантно облокачивались одной рукой на камин черного мрамора или на золоченый консоль, находившийся между двумя окнами. Когда они покидали одну из этих грациозных поз, чтобы принять другую, не менее грациозную, они двигались быстро, почти стремительно, словно исполняя военную команду.

Люсьен думал: «Может быть, чтобы понравиться провинциальным девицам, необходимо так двигаться»; но он должен был оторваться от этих философских размышлений, так как заметил, что эти господа, принимавшие классические позы, старались подчеркнуть, что между ними и Люсьеном нет ничего общего. Он попытался отплатить им за этой сторичей.

– Вас это раздражает? – спросила мадемуазель Теодолинда, проходя мимо него.

В этом вопросе было столько простоты и естественности, что Люсьен ответил ей с не меньшей искренностью:

– Это так мило, что я даже собираюсь спросить у вас имена этих красавцев, которые, если не ошибаюсь, хотят вам понравиться. Возможно, что холодностью, которою они меня сейчас удостаивают, я обязан вашим прекрасным глазам.

– Молодой человек, разговаривающий с моей матерью, – господин де Ланфор.

– Он очень представитель и кажется человеком благовоспитанным. А кто этот господин, который с таким грозным видом облокотился о камин?

– Это господин Людвиг Роллер, бывший кавалерийский офицер. Те двое, рядом с ним, – его братья; они небогаты; жалованье было для них большим подспорьем. Теперь у них на троих одна лошадь и, кроме того, у них чрезвычайно оскудели темы для бесед. Они не могут больше говорить о том, что вы, господа военные, называете сбруей, амуницией, и о прочих занимательных вещах. У них уже нет надежды стать маршалами Франции, подобно маршалу Ларнаку, прапрадеду одной из их бабушек.

– После вашего описания они мне кажутся более симпатичными. А этот приземистый и неповоротливый толстяк, который время от времени поглядывает на меня с видом превосходства и отдувается, как кабан?

– Как? Вы его не знаете? Это господин маркиз де Санреаль, самый богатый дворянин в наших краях.

³⁶ Отсюда все зло (*лат.*).

Люсьен разговаривал с мадемуазель Теодолиндой очень оживленно; потому-то их беседа и была прервана господином де Санреалем; раздосадованный счастливым видом Люсьена, он подошел к мадемуазель Теодолинде и вполголоса заговорил с нею, не обращая ни малейшего внимания на Люсьена. В провинции богатому холостяку все дозволено.

Эта полувраждебная выходка напомнила Люсьену о необходимости соблюдать приличия. Оловянный циферблат висевших на стене, на высоте восьми футов, старинных часов был настолько испещрен узорами, что невозможно было разглядеть ни цифр, ни стрелок; часы пробили, и Люсьен узнал, что он целых два часа сидит у Серпьеров. Он ушел.

«Посмотрим, – подумал он, – разделяю ли я аристократические предрассудки, над которыми всегда так издевается отец». Он отправился к госпоже Бершю; там он застал префекта, заканчивавшего партию в бостон.

Увидев входящего Люсьена, господин Бершю-отец обратился к супруге, огромной женщине лет пятидесяти или шестидесяти:

– Крошка, предложи чашку чая господину Левену.

Так как госпожа Бершю не слышала его, он дважды повторил эту фразу, начинавшуюся словом «крошка».

«Разве я виноват в том, что мне смешны эти люди?» – подумал Люсьен. Взяв чашку чая, он пошел полюбоваться на действительно красивое платье, которое надела в тот вечер мадемуазель Сильвиана. Оно было из алжирской ткани в очень широкую, кажется каштановую и бледно-желтую полоску; при вечернем освещении эти цвета выглядели чудесно.

В ответ на несколько слов восхищения Люсьену пришлось выслушать от прекрасной Сильвианы весьма подробное повествование об этом платье; оно было из Алжира; уже давно находилось оно в шкафу мадемуазель Сильвианы, и пр., и пр. Прекрасная Сильвиана, забыв о своем чересчур высоком росте, не преминула склонить голову в наиболее интересных местах этой трогательной истории. «Прелестные формы, – думал Люсьен, запасаясь терпением. – Безусловно, мадемуазель Сильвиана могла бы изображать в 1793 году одну из тех *богинь Разума*, о которых так распространялся господин де Серпьер. Мадемуазель Сильвиана с гордостью взирала бы на мир, в то время как десяток мужчин проносил бы ее на носилках по городским улицам».

Когда повествование о полосатом платье было окончено, Люсьен почувствовал, что у него не хватает смелости продолжать разговор. Он стал слушать господина префекта, который с тупым самодовольством повторял статью из вчерашнего номера «*Débats*». «Эти люди никогда не говорят, они проповедуют, – думал Люсьен. – Если я сяду, я засну; надо уходить, пока у меня еще есть силы». В передней он взглянул на свои часы: он провел у госпожи Бершю только двадцать минут.

Желая не забыть никого из своих новых знакомых, а главное, боясь перепутать их между собою, что было бы прискорбно ввиду самолюбия провинциалов, Люсьен решил составить перечень своих новоиспеченных друзей. Он расположил их согласно занимаемому ими рангу, как это делают английские журналы, описывающие публике олмекские балы³⁷. Вот этот перечень:

Графиня де Коммерси, из Лотарингской династии.

Маркиз и маркиза де Пюи-Лоранс.

Господин де Ланфор, цитирующий Вольтера и повторяющий разглагольствования Дю Пуарье о Гражданском кодексе и разделе наследства.

Маркиз и маркиза де Сов д'Окенкур; господин д'Антен, друг маркизы. Маркиз, очень храбрый человек, постоянно умирающий от страха.

³⁷ Олмекс – название модного клуба в Лондоне, где собирается высшее английское общество.

Маркиз де Санреаль, приземистый, толстый, невероятно самодовольный, сто тысяч ливров ежегодного дохода.

Маркиз де Понлеве и его дочь, госпожа де Шастеле, самая богатая невеста в округе, владелица миллионов и предмет вожделений гг. де Блансе, де Гоэлло и т. д. Меня предупредили, что госпожа де Шастеле никогда не захочет принять меня из-за моей кокарды; надо бы найти возможность явиться к ней в штатском платье.

Графиня де Марсильи, вдова кавалера ордена Почетного легиона; прадед – маршал Франции.

Три графа Роллера: Людвиг, Сижисмон и Андре, храбрые офицеры, неутомимые охотники, весьма недовольные. Все три брата говорят совершенно одно и то же. У Людвига грозный вид, смотрит на меня косо.

Граф де Васиньи, бывший подполковник, человек рассудительный и умный; попытаться с ним сойтись. Обстановка хорошего вкуса, великолепные лакеи.

Граф Женевре, девятнадцатилетний юнец, толстый и затянутый во фрак, всегда слишком узкий; черные усы; каждый вечер два раза повторяет, что без *легитимизма* Франция не может быть счастлива; в сущности, славный малый; прекрасные лошади.

Люди, с которыми я знаком, но с которыми следует избегать всякого особого разговора, ибо первый обязывает к двадцати другим, а говорят они, как вчерашние газеты.

Господин и госпожа де Луваль; госпожа де Сен-Сиран; господин де Бернгейм; г-да де Жоре, де Вупуаль, де Сердан, де Пули, де Сен-Венсен, де Пеллетье-Люзи, де Винер, де Шарлемон и т. д.

Вот общество, в котором вращался Люсьен. Редкий день он не видел доктора, и даже в обществе этот ужасный доктор часто обращался к нему со своими пылкими импровизациями.

Люсьен был так неопытен, что его не удивляли ни замечательный прием, оказанный ему высшим светом Нанси (за исключением молодых людей), ни постоянство, с которым Дю Пуарье просвещал его и покровительствовал ему.

При всем своем красноречии, страстном и наглом, Дю Пуарье был человек необычайно робкий; он никогда не бывал в Париже, и жизнь, которую там ведут, казалась ему чудовищной; тем не менее он сгорал желанием поехать туда. Его корреспонденты давно сообщили ему всякие сведения о господине Левене-отце. «В этом доме, – думал он, – я найду превосходный даровой обед, познакомлюсь с влиятельными людьми, с которыми можно поговорить и которые помогут мне, если со мной случится беда. Благодаря Левенам я не буду одинок в этом Вавилоне. Этот юноша пишет своим родителям обо всем; несомненно, они уже знают, что я ему здесь покровительствую».

Госпожа де Марсильи и госпожа де Коммерси, обе значительно старше шестидесяти лет, довольно часто приглашали Люсьена на обед (у него хватило ума не отказываться от этих приглашений) и представили его всему городу. Люсьен в точности следовал совету, который дала ему мадемуазель Теодолинда.

Проведя меньше недели в высшем обществе, он уже успел заметить в нем жестокий раскол.

Его новые знакомые сперва стыдились этих разногласий и хотели скрыть их от постороннего человека, но вражда и страсти взяли верх; к счастью для провинции, ей еще знакомы страсти.

Господин де Васиньи и благоразумные люди считали, что живут в царствование Генриха V, тогда как Санреаль, Людвиг Роллер и наиболее пылкие люди не признавали отречения в Рамбулье и ожидали, что после Карла X воцарится Людовик XIX³⁸.

³⁸ Во время Июльской революции король Карл X бежал из Парижа в свой охотничий замок в Рамбулье, где отрекся от

Люсьен часто посещал так называемый особняк Пюи-Лоранс; это был большой дом, расположенный в конце предместья, заселенного дубильщиками, неподалеку от зловонной речки шириною в двенадцать футов.

Над маленькими квадратными оконцами каретных сараев и конюшни тянулся ряд больших окон с черепичными навесами; навесы имели своим назначением предохранять богемские стекла. Защищенные таким образом от дождя стекла, быть может, не мылись лет двадцать и пропускали внутрь желтоватый свет.

В самой темной из комнат, освещенных этими грязными окнами, у старинного бюро буль сидел худощавый, высокого роста человек, пудривший волосы и носивший косу единственно из политических убеждений, так как он часто с удовольствием сознавался, что коротко остриженные и ненапудренные волосы гораздо удобнее.

Этот мученик высоких принципов был уже далеко не молод; звали его маркиз де Пюи-Лоранс. Во время эмиграции он был верным спутником одной августейшей особы; когда особа эта стала всемогущей, ее укоряли за то, что она ничего не сделала для человека, которого придворные называли *тридцатилетним другом*. Наконец в результате многочисленных ходатайств, которые господину де Пюи-Лорансу нередко казались унижительными, он был назначен главным податным инспектором в ***.

После всех этих неприятных хлопот господин де Пюи-Лоранс, обиженный теми, кому он посвятил свою жизнь, видел все в черном свете. Но принципы его остались непоколебимыми, и он, как и прежде, отдал бы за них жизнь. «Карл Десятый, — часто повторял он, — не потому наш король, что он достойный человек. Достойный он человек или нет, но он сын дофина, сына Людовика Пятнадцатого, — этого достаточно». И добавлял, если находился в кругу друзей: «Разве *законная власть* повинна в том, что ее представитель глуп? Разве мой арендатор будет избавлен от обязанности выплачивать мне аренду на том основании, что я дурак или слабоумный?» Господин Пюи-Лоранс ненавидел Людовика XVIII. «Этот чудовищный эгоист, — часто повторял он, — некоторым образом узаконил революцию. Благодаря ему сторонники мятежа получили правдоподобный довод, нелепый для нас, — прибавлял он, — но способный увлечь слабых».

— Да, сударь, — говорил он Люсьену на следующий день после того, как тот был ему представлен, — поскольку корона — благо, которым пользуются пожизненно, ничто из того, что делает ее теперешний обладатель, не может обязать его преемника, даже присяга, ибо, давая эту присягу, его преемник был подданным и ни в чем не мог отказать своему королю.

Люсьен выслушивал все это и еще многое другое с видом внимательным, даже почти-тельным, как и подобает молодому человеку, но очень старался, чтобы его учтивость не была похожа на одобрение. «Я, плебей и либерал, могу иметь кое-какое значение среди этих тщеславных людей только при условии, что не уступлю своих позиций».

Когда при этом присутствовал Дю Пуарье, он без стеснения перебивал маркиза: «Следствием стольких прекрасных вещей будет то, что всю собственность станут делить поровну. В ожидании этой конечной цели всех *либералов* Гражданский кодекс берет на себя задачу сделать всех *наших детей* мещанами. Какое дворянское состояние могло бы выдержать эти бесконечные разделы наследства после смерти каждого отца семейства? Это еще не все; нашим младшим сыновьям оставалась армия; но подобно тому, как Гражданский кодекс, который я назвал бы адским, уравнивает состояние, рекрутский набор вносит элемент равенства в армию. Закон устанавливает пошлейший порядок повышения в чине, ничто уже не зависит от милости монарха. Зачем же в таком случае угождать королю? А с тех пор, сударь, как стали задавать себе этот вопрос, монархии более не существует. Что мы видим с другой стороны? Отсутствие

престола в пользу своего внука герцога Бордоского, который стал королем Генрихом V. Определенная группа легитимистов не признавала отречения и считала законным французским королем дофина, которого называли Людовиком XIX.

крупных наследственных состояний, что тоже подрывает монархический принцип. Нам остается только религиозность крестьян, потому что без веры нет и уважения к богатым и знатным, есть только дьявольский дух анализа, вместо уважения – зависть, а при малейшей кажущейся несправедливости – мятеж».

Тут маркиз де Пюи-Лоранс подхватывал:

– Значит, нет иного средства, как вновь призвать иезуитов и законодательным актом предоставить им на сорок лет диктатуру в деле воспитания народа.

Забавнее всего было то, что, высказывая эти суждения, маркиз искренне считал себя патриотом; в этом смысле он был несравненно выше старого плута Дю Пуарье, который, выходя однажды от де Пюи-Лоранса, сказал Люсьену:

– Этот человек – герцог, миллионер, пэр Франции; не ему задаваться вопросом о том, согласуется ли его положение с добродетелью, всеобщим благом и другими прекрасными вещами. Его положение превосходно, значит он должен всеми способами его поддерживать и улучшать; в противном случае он заслуживает всеобщего презрения как трус или дурак.

Внимательно и весьма учтиво выслушивать эти разглагольствования было обязанностью *sine qua* поп³⁹ Люсьена; это была плата за ту особую милость, которую оказало ему высшее общество Нанси, приняв его в свое лоно.

«Надо сознаться, – думал он однажды вечером, возвращаясь домой и почти засыпая на ходу, – что люди во сто раз знатнее меня изволят удостаивать меня беседой в самой благородной и самой лестной для меня форме, но они мучают меня бесчеловечно. Я не в силах больше этого выдерживать. Правда, я могу, вернувшись домой, подняться наверх, к своему хозяину, господину Бонару; там я, быть может, застану его племянника Готье. Это человек чрезвычайно порядочный, который сразу же обрушит мне на голову истины неоспоримые, но относящиеся к вещам малозанимательным, и притом сделает это с простотой, которая в наиболее горячие моменты переходит в грубость. Что мне даст эта грубость? Эти истины вызывают зевоту. Неужели же мне суждено проводить жизнь среди легитимистов, учтивых себялюбцев, боготворящих прошлое, и республиканцев, великодушных, но скучных безумцев, боготворящих будущее? Теперь я понимаю отца, когда он восклицал: „Почему я не родился в 1710 году, с пятьюдесятью тысячами ливров годового дохода!“»

Прекрасные рассуждения, которые каждый вечер выслушивал Люсьен и которые читателю пришлось выслушать лишь один раз, были политическим исповеданием веры всякого представителя знати Нанси и области, не желавшего слишком явно пересказывать статьи из «Quotidienne», «Gazette de France» и т. п.

Вытерпев целый месяц, Люсьен наконец нашел совершенно невыносимым общество крупных помещиков-дворян, рассуждающих всегда так, словно, кроме них, никого нет на свете, и говорящих только о высокой политике и о цене на овес.

На фоне этой скуки было лишь одно исключение. Люсьен очень радовался, когда, придя в особняк Пюи-Лоранс, он бывал принят маркизой. Это была женщина высокого роста, лет тридцати пяти, может быть больше; у нее были прекрасные глаза, великолепная кожа и, кроме того, такой вид, будто она насмеялась над всеми существующими на свете теориями. Она восхитительно рассказывала, вышучивала всех направо и налево и почти без разбора. Обычно она попадала в цель, и там, где она появлялась, всегда раздавался смех. Люсьен охотно в нее влюбился бы, но место было занято. Главным влечением госпожи де Пюи-Лоранс было подтрунивание над очень любезным молодым человеком, господином де Ланфором. Шутки ее носили характер самой нежной дружбы, но это никого не смущало. «Вот еще одно из преимуществ провинции», – думал Люсьен. Впрочем, он очень любил встречаться с господином де Ланфором; это был почти единственный из *родовитых*, который не говорил слишком громко.

³⁹ Непременную (лат.).

Люсьен привязался к маркизе и через две недели стал находить ее красивой. Присущая ей провинциальная живость чувств пикантно смешивалась с парижским лоском. Воспитание ее действительно закончилось при дворе Карла X, когда ее муж служил главным податным инспектором в одном из довольно отдаленных департаментов.

В угоду мужу и его единомышленникам госпожа де Пюи-Лоранс два-три раза в день посещала церковь, но лишь только она туда входила, божий храм превращался в гостиную; Люсьен ставил свой стул как можно ближе к госпоже де Пюи-Лоранс, находя таким образом способ с наименьшей скукой выполнять требования высшего общества.

Однажды, когда маркиза в течение десяти минут слишком громко смеялась со своими соседями, подошел священник и попытался обратиться к ней с увещаниями:

– Мне казалось бы, маркиза, что дом господень...

– Уж не ко мне ли, случайно, относится это *маркиза*? Вы шутник, дорогой аббат. Ваш долг – спасти наши души, а вы все так красноречивы, что, если бы мы не ходили к вам из принципа, сюда не заглянула бы ни одна собака. Можете говорить со своей кафедры сколько вам угодно, но не забывайте, что вы обязаны только отвечать на мои вопросы; ваш отец, бывший лакей моей свекрови, должен был лучше вас обучить.

Всеобщий, хотя и сдержанный, смех последовал за этим милостивым предупреждением. Это было забавно, и Люсьен не упустил ни одной подробности этой маленькой сценки. Но в виде возмездия позднее выслушал рассказ о ней не менее ста раз.

Между госпожой де Пюи-Лоранс и господином де Ланфором произошла крупная ссора; Люсьен удвоил свои ухаживания. Ничто не могло быть смешнее вылазок двух враждующих сторон, продолжавших встречаться ежедневно; их способ проводить вместе время занимал весь Нанси.

Люсьен часто возвращался из особняка Пюи-Лоранс с господином де Ланфором; между ними завязалось нечто вроде дружбы. У господина де Ланфора были прекрасные природные качества, и к тому же он ни о чем не жалел. Во время революции 1830 года он был кавалерийским капитаном и с радостью воспользовался возможностью бросить надоевшее ему ремесло.

Однажды утром, выходя вместе с Люсьеном из особняка Пюи-Лоранс, где с ним только что грубо обошлись на глазах у всех, он сказал:

– Ни за что на свете не стал бы я убивать дубильщиков или ткачей, как это в нынешнее время обязаны делать вы.

– Нельзя отрицать, что военная служба после Наполеона утратила всякую привлекательность, – ответил Люсьен. – При Карле Десятом вас заставляли быть провокаторами, как в Кольмаре, в деле Карона, или отправляться в Испанию за генералом Риго⁴⁰, чтобы помочь королю Фердинанду повесить его. Надо сознаться, что все это не к лицу таким людям, как вы и я.

– Хорошо было жить при Людовике Четырнадцатом; вы проводили время при дворе, в самом лучшем обществе, с госпожой де Севинье, герцогом де Вильруа, герцогом де Сен-Симоном и видели солдат лишь тогда, когда надо было вести их в атаку и при случае увенчать себя славой.

– Да, очень хорошо для вас, маркиз, но я при Людовике Четырнадцатом был бы только торговцем, в самом лучшем случае Сэмюэлем Бернаром⁴¹ в миниатюре.

К их великому сожалению, подошел маркиз де Санреаль, и беседа приняла совершенно другое направление. Заговорили о засухе, которая должна была разорить владельцев неорошенных полей, стали обсуждать необходимость сооружения канала, который подавал бы воду из лесов Баккара.

⁴⁰ Рафаэль дель Риго-и-Нуньес (1784–1823) – испанский генерал, был взят в плен французскими войсками, вступившими в Испанию, выдан испанскому королю Фердинанду и повешен.

⁴¹ Сэмюэль Бернар (1651–1739) – банкир, который давал займы французской короне огромные суммы.

Люсьену оставалось только одно утешение: разглядывать Санреаль вблизи; он представлялся ему настоящим типом крупного провинциального помещика. Санреаль был тридцатилетний толстяк с волосами грязно-черного цвета. Он притязал на очень многое, в особенности на добродушие и простоту, не отказываясь, однако, от желания слыть остроумным и тонким человеком. Эта смесь противоречивых претензий, а также соответствующая его огромному для провинции состоянию самоуверенность делали его чрезвычайно глупым. Вряд ли можно было назвать его круглым дураком. Но это был пустой и до невозможности претенциозный человек, в особенности же был он невыносим, когда пытался острить.

Одной из его любимых забав было, здороваясь, сжать вам руку так, что вы вскрикивали от боли; он и сам, желая пошутить, кричал во все горло, когда ему нечего было сказать. Он старательно утрировал все манеры, способные убедить в его добродушии и непринужденности, и, видимо, сто раз на дню твердил себе: «Я самый крупный собственник в этой местности, следовательно, должен быть не таким, как все».

Если какой-нибудь носильщик заводил на улице ссору с одним из его слуг, он стремглав бросался туда, чтобы поскорей положить конец делу, и готов был убить носильщика. Он прославился и выдвинулся на первое место среди самых энергичных и *благomyслящих* людей благодаря тому, что собственноручно арестовал одного из тех несчастных крестьян, которые были неизвестно за что расстреляны по приказу Бурбонов в связи с каким-то заговором или, вернее, бунтом, вспыхнувшим во время их царствования. Эту подробность Люсьен узнал значительно позднее. Единомышленники маркиза де Санреаль стыдились этого, да и сам он, удивленный своим поступком, начал задумываться над тем, к лицу ли было дворянину, крупному землевладельцу, исполнять обязанности жандарма и, что еще хуже, выхватывать из толпы какого-то несчастного крестьянина, чтобы подвести его под расстрел без суда и следствия по приговору военной комиссии.

Маркиз только в одном походил на любезных маркизов времен Регентства: начиная с полудня или часу он всегда бывал почти совершенно пьян; а было два часа, когда он подошел к господину де Ланфору. В таком состоянии он говорил без умолку и был героем всех своих рассказов. «Этому не приходится занимать энергии, и в девяносто третьем году он не подставил бы голову под топор, как благочестивые овечки д'Окенкуры», – подумал Люсьен.

У маркиза де Санреаль с утра до вечера был открытый стол, и, рассуждая о политике, он всегда придерживался высокого и напыщенного слога. У него на это были свои причины: он знал наизусть десятка два изречений господина де Шатобриана, между прочим, и то, в котором говорится о палаче и шести других лицах, необходимых для управления департаментом.

Чтобы удержаться на этой ступени красноречия, он всегда имел под рукой, на маленьком столике красного дерева, стоявшем рядом с его креслом, бутылку коньяка, несколько писем из-за Рейна и номер «*Gazette de France*», борющейся против последствий отречения 1830 года в Рамбулье. Всякий входящий к Санреалю должен был выпить за здоровье короля и его законного наследника Людовика XIX.

– Черт возьми! – воскликнул Санреаль, обращаясь к Люсьену. – Быть может, мы еще будем вместе сражаться, если когда-нибудь у главных легитимистов в Париже хватит ума сбросить с себя иго адвокатов!

Люсьен ответил так, что имел счастье понравиться более чем полупьяному маркизу, и начиная с того утра, которое кончилось за стаканом глинтвейна в одном из местных ультрамонархических кафе, Санреаль совсем примирился с обществом Люсьена.

Но близкое знакомство с доблестным маркизом имело свои неудобные стороны: он не мог слышать имени Людовика-Филиппа, чтобы не выкрикнуть каким-то странным и визгливым голосом: «Вор!» Эта его острота постоянно заставляла покатываться со смеху большинство знатных дам Нанси, иногда раз десять за вечер. Люсьен был очень шокирован этими вечными повторениями и вечным смехом.

Глава двенадцатая

Наблюдая в шестидесятый или восьмидесятый раз занимательное действие этой хитроумной шутки, Люсьен решил: «Я буду дураком, если хоть одной своей мыслью поделюсь с этими провинциальными комедиантами; у них все неестественно, даже смех; в самые веселые моменты они думают о девяносто третьем годе».

Это наблюдение имело решающее значение для успеха нашего героя. Некоторые его слова, слишком искренние, уже повредили той симпатии, которой он начал пользоваться. С тех пор как он стал лгать всякому встречному с той беззаботностью, с какой поет стрекоза, симпатия эта восстановилась, и даже в большей степени, но вместе с непринужденностью исчезло и удовольствие. Люсьен горько расплачивался за свою осторожность: он стал жертвою скуки. При виде любого из высокородных друзей графини де Коммерси он заранее знал, что нужно сказать и какой ответ он услышит. Самые располагающие из этих господ имели в запасе не больше десятка острот, и о том, насколько они были приятны, можно было судить по неизменной шутке маркиза де Санреала, который считался одним из самых заправских весельчаков.

Впрочем, скука так мучительна даже в провинции, даже для людей, которые сеют ее вокруг себя в изобилии, что тщеславные дворяне Нанси с удовольствием разговаривали с Люсьеном и останавливались с ним на улице. Этот буржуа, довольно благомыслящий, несмотря на отцовские миллионы, был своего рода новинкой. К тому же госпожа де Пюи-Лоранс заявила, что он очень умен. Это было первой победой Люсьена. Действительно, он стал менее наивен, чем был в ту пору, когда уезжал из Парижа.

Из людей, завязавших с ним прочные отношения, более всего отличал он полковника графа де Васињи. Это был блондин высокого роста, еще молодой, но с лицом, уже изборожденным морщинами, с видом умным и приветливым. Он был ранен в июле 1830 года и не слишком злоупотреблял этим огромным преимуществом. Возвратившись в Нанси, он имел несчастье внушить великую страсть маленькой госпоже де Вильбель, кладезю ходячей премудрости и обладательнице очень красивых глаз, пылавших, однако, неприятным, вульгарным огнем. Она властвовала над господином де Васињи, притесняла его, не пускала в Париж, в город, который он жаждал вновь увидеть, и особенно настаивала на том, чтобы он близко подружился с Люсьеном. Господин де Васињи начал посещать Люсьена. «Это слишком большая честь, – думал Люсьен, – но что станет со мною в Нанси, если даже дома я не буду хоть ненадолго оставаться наедине с собою?» Наконец Люсьен заметил, что, усладив его в достаточной мере самыми лестными и искусными комплиментами, граф перешел к вопросам. Люсьен старался отвечать на нормандском наречии, чтобы позабавиться немного во время этих слишком долгих визитов, ибо для провинциалов, даже самых воспитанных, время как будто не движется: двухчасовой визит для них вещь обычная.

– Какова глубина рва, прорытого между Тюильрийским дворцом и садом? – спросил его однажды граф де Васињи.

– Не знаю, – ответил Люсьен, – но мне кажется, что перейти его с оружием в руках не так легко.

– Как! Неужели там футов двенадцать-пятнадцать глубины? Но тогда воды Сены должны заливать его дно.

– Вы заставляете меня призадуматься... Мне кажется, что дно у него всегда сырое. Но, может быть, там не более трех-четырех футов глубины. Мне никогда не приходило в голову обследовать этот ров, однако я слышал, что о нем говорили как о военном укреплении.

И минут двадцать Люсьен пытался развлечься этим двусмысленным разговором.

Однажды Люсьен был свидетелем того, как господин д'Антен вывел из терпения госпожу д'Окенкур. Этот милый молодой человек, настоящий француз, нисколько не заботившийся о

будущем, желавший нравиться, склонный к веселости, в тот день совершенно сошел с ума от любви и нежной меланхолии; он потерял голову, всячески стараясь быть любезнее, чем обычно. Вместо того чтобы пойти прогуляться и вернуться позднее, как вежливо предлагала ему госпожа д'Окенкур, господин д'Антен ограничился тем, что шагнул назад и вперед по гостиной.

– Сударыня, мне очень хочется, – сказал Люсьен, – подарить вам маленькую английскую гравюру в прелестной старинной раме; я попрошу у вас разрешения повесить ее в вашей гостиной, а если когда-нибудь я не увижу ее на обычном месте, я не переступлю больше порога вашего дома, чтобы дать вам понять, до чего я раздосадован столь жестоким поступком.

– Дело в том, что вы умный человек, – со смехом ответила она ему, – вы не так глупы, чтобы влюбиться... Господи! Может ли быть что-нибудь скучнее любви!..

Но бедному Люсьену редко приходилось слышать такие речи; жизнь его снова становилась очень тусклой и однообразной. Его принимали в гостиных Нанси, у него были слуги в великолепных ливреях, собственный тильбюри и коляска, которые его мать выписала ему из Лондона и которые новизною могли спорить с экипажами господина де Санреалья и других местных богачей; он с удовольствием сообщал своему отцу анекдоты о лучших домах Нанси. И, несмотря на все это, скучал ничуть не меньше, чем в ту пору, когда, не зная ни души, проводил вечера, гуляя по улицам Нанси.

Часто, собираясь войти к кому-нибудь, прежде чем подвергнуть себя мучениям, которые причиняли ему крики, терзавшие его слух, он останавливался на улице. «Войти ли?» – колебался он. Иногда он еще на улице слышал эти крики. Разглагольствующий провинциал, прижатый к стене, бывает ужасен: когда ему нечего больше сказать, он прибегает к силе своих легких; он гордится ею, и не без основания, ибо часто именно этим превосходит своего противника и заставляет его замолчать.

«В Париже ультрароялисты приручены, – думал Люсьен, – здесь я вижу их в диком состоянии; это ужасные существа, шумливые, бранящиеся, не привыкшие, чтобы им противоречили, способные три четверти часа жевать одну и ту же фразу. Самые невыносимые парижские ультрароялисты, из-за которых все разбегаются из салона госпожи Гранде, здесь показались бы людьми благовоспитанными, сдержанными, говорящими нормальным голосом».

Худшим недостатком, по мнению Люсьена, была манера говорить громко, он никак не мог с этим примириться. «Я должен был бы их изучать, как изучают естественную историю. Господин Кювье в Ботаническом саду говорил нам, что, если мы хотим избавиться от отвращения, которое внушают нам черви, насекомые, уродливые морские крабы и прочее и прочее, мы должны методически их изучать, старательно отмечая их сходство и различия».

Когда Люсьен встречал одного из своих новых приятелей, ему волей-неволей приходилось останавливаться с ним на улице. Они смотрели друг на друга, не знали, что сказать, говорили о жаре или холоде и т. д., ибо провинциал, кроме газет, ничего не читает и, после того как он обсудил газетные новости, ему говорить не о чем. «Право, быть здесь человеком состоятельным – настоящее несчастье, – думал Люсьен. – Богачи менее заняты, чем другие люди, и вследствие этого, по-видимому, более злы. Они проводят жизнь, изучая под микроскопом поступки соседей: у них единственное лекарство от скуки – шпионить друг за другом, и это в первые месяцы несколько скрывает от постороннего их умственное убожество. Когда муж собирается сообщить этому постороннему лицу историю, известную его жене и детям, те сгорают желанием перебить его и самим продолжать рассказ; нередко под предлогом добавления какого-нибудь упущенного рассказчиком обстоятельства они начинают всю историю сначала».

Иногда, выбившись из сил, Люсьен, вместо того чтобы, сойдя с лошади, переодеться и отправиться в высшее общество, оставался распить бутылку пива со своим хозяином, господином Бонаром.

– Мне, быть может, придется предложить сто луидоров самому господину префекту, – сказал однажды Люсьену этот смелый промышленник, не особенно почитавший представите-

лей власти, – за разрешение получить из-за границы две тысячи мешков зерна, а между тем его отец получает двадцать тысяч жалованья.

Бонар и к местной аристократии относился не с большим уважением, чем к должностным лицам.

– Если бы не доктор Дю Пуарье, – говорил он Люсьену, – эти... были бы не слишком злы; он что-то зачастил к вам, сударь, берегитесь! Здешние аристократы, – добавил Бонар, – умирают от страха, если парижская почта опаздывает на четверть часа, тогда они приходят ко мне продавать свой урожай на корню; чтобы получить золото, они валяются у меня в ногах, а на следующий день, успокоенные прибывшей наконец почтой, едва отвечают на мой поклон. Я считаю, что не поступаю бесчестно, запоминая их неучтивости и взимая с них за каждую по луидору. Я устраиваю это с помощью их лакеев, которых они ко мне присылают со своим зерном, потому что хотя они и очень скупы, но, поверите ли, сударь, у них даже не хватает смелости прийти самим посмотреть, как меряют их зерно. На четвертом или пятом двойном декалитре этот толстяк, господин де Санреаль, уверяет, что у него грудь болит от пыли; и этот забавный тип мечтает восстановить трудовую повинность, и иезуитов, и весь старый режим!

Однажды вечером, когда офицеры после строевого учения прогуливались по плацу, полковник Малер де Сен-Мегрен, поддавшись порыву ненависти к нашему герою, сказал ему:

– Что означают эти четыре или пять ливрей яркого цвета, с огромными галунами, которые вы выставляете напоказ на улицах? В полку это производит дурное впечатление.

– Честное слово, полковник, ни одна статья устава не запрещает тратить деньги тому, кто их имеет.

– Да вы с ума сошли, что так разговариваете с полковником! – шепнул ему его друг Филото, отведя его в сторону. – Он наделает вам неприятностей!

– Какую еще неприятность может он мне причинить? Мне кажется, он ненавидит меня так, как только можно ненавидеть человека, с которым видишься редко; но, конечно, я не отступлю ни на пядь перед человеком, который меня ненавидит, хотя я не дал ему никакого повода к этому. *В данный момент мне пришла блажь* завести ливреи, и на тот же случай я выписал из Парижа двенадцать пар рапир.

– Ах, задира!

– Ничуть, господин подполковник. Даю вам честное слово, что из всех ваших офицеров я наименее фатоватый и наиболее миролюбивый. Я желаю, чтобы никто меня не трогал, и сам никого задевать не хочу; я буду вполне вежлив, вполне сдержан со всеми, но если меня заденут, я за себя постою.

Два дня спустя полковник Малер вызвал Люсьена и с делано-непринужденным видом запретил ему иметь больше двух ливрейных лакеев. Люсьен одел своих слуг в самое элегантное штатское платье, что создавало необычайно смешной контраст с их неуклюжей, простонародной внешностью. Новые костюмы он заказал местному портному. Это обстоятельство, хотя Люсьен и не подумал о нем, было понято как насмешка и принесло ему большую честь в обществе; госпожа де Коммерси осыпала его похвалами. Что же касается госпожи д'Окенкур и госпожи де Пюи-Лоранс, они были от него без ума.

Люсьен написал матери об истории с ливреями; полковник, со своей стороны, довел ее до сведения министра. Люсьен этого ожидал. Он заметил, что в ту пору в гостиных Нанси к нему стали относиться с большим уважением; объяснялось это тем, что доктор Дю Пуарье показал ответные письма своих парижских друзей, у которых он осведомлялся о положении и капитале дома «Ван-Петтерс, Левен и К^о». Ответы эти были как нельзя более благоприятны. «Эта фирма, – сообщали ему, – принадлежит к числу тех немногих, которые при случае либо покупают сведения у министров, либо делят с ними пополам барыши, полученные в результате этих сведений».

Господин Левен-отец был особенно склонен к этим не совсем опрятным делам, которые, если заниматься ими долго, приводят к разорению, но придают человеку вес и приносят ему полезные связи. Во всех присутственных местах у него были свои люди, и его вовремя предупредили о доносе, посланном на его сына полковником Малером де Сен-Мегреном.

История с ливреями его весьма позабавила, он ею занялся, и месяц спустя полковник де Сен-Мегрен получил по этому поводу из министерства крайне неприятное письмо.

Ему очень хотелось услать Люсьена подальше, в промышленный город, где рабочие уже начали организовывать Общества *взаимной помощи*. Но так как, будучи командиром части, надо уметь подавлять свои желания, полковник, встретив Люсьена, сказал ему с фальшивой улыбкой простолюдина, пытающегося слукавить:

– Молодой человек, мне сообщили о вашем послушании: я имею в виду ливреи; я вами доволен; заводите себе столько ливрейных лакеев, сколько вам заблагорассудится, но поберегите кошелёк папаши!

– Покорнейше благодарю вас, полковник, – неторопливо ответил Люсьен, – *папаша* писал мне об этом; готов даже биться об заклад, что он виделся с министром.

Улыбка, сопровождавшая последние слова, глубоко задела полковника. «Ах, если бы я не был полковником и не стремился к чину генерал-майора, – подумал Малер, – каким славным ударом шпаги поплатился бы ты за свои слова, высокомерный нахал!» – И он поклонился корнету решительно и резко, как старый солдат.

Таким-то образом, сочетая силу с осмотрительностью, как говорится в нравоучительных книжках, Люсьен действительно удвоил ненависть, которую к нему питали в полку; но в лицо ему не привелось услышать ни одной колкости. Многие из его сослуживцев были с ним любезны, но он усвоил себе дурную привычку говорить с ними ровно столько, сколько требовала самая строгая вежливость. Благодаря такому приятному образу жизни он смертельно скучал и не принимал участия в развлечениях молодых офицеров его возраста: он отдавал дань порокам своего века.

К этому времени впечатление новизны, произведенное на душу нашего героя обществом Нанси, совершенно притупилось. Люсьен знал наизусть всех персонажей. Ему оставалось только философствовать. Он находил, что здесь больше непринужденности, чем в Париже, но естественным следствием ее было то, что глупцы в Нанси были куда более несносны. «Чего совершенно недостает этим людям, даже самым лучшим из них, это оригинальности». Оригинальность Люсьен замечал иногда лишь у доктора Дю Пуарье и у госпожи де Пюи-Лоранс.

Глава тринадцатая

Люсьен в обществе никогда не встречал госпожу де Шастеле, видевшую, как он упал с лошади в день своего приезда в Нанси. Он забыл о ней, но по привычке почти ежедневно проезжал по улице Помп. Правда, он чаще смотрел на либерального офицера, шпионившего у читальни Шмидта, чем на ярко-зеленые жалюзи.

Однажды, после полудня, жалюзи были подняты; Люсьен увидел красивую оконную занавеску из вышитого белого муслина; он сейчас же, почти бессознательно, пришпорил свою лошадь. Под ним была не английская лошадь префекта, а маленькая венгерская лошадка, которой это очень не понравилось. Венгерка так разозлилась и начала выделять такие необычайные прыжки, что Люсьен два или три раза чуть не вылетел из седла.

«Как, на том же самом месте!» – думал он, краснея от гнева, и, в довершение беды, в самый критический момент заметил, что занавесочка немного отодвинулась от оконной рамы. Было ясно, что кто-то глядел на него. И в самом деле, это была госпожа де Шастеле. «Ах, вот мой юный офицер, он сейчас опять упадет!» – подумала она. Она часто видела его, когда он проезжал; костюм его всегда был вполне элегантен, однако в нем самом не было ни малейшего фатовства.

Кончилось дело тем, что Люсьену пришлось пережить ни с чем не сравнимое унижение: маленькая венгерская лошадка сбросила его на землю шагах в десяти от того места, где он упал в день вступления полка в город. «Похоже на то, что это судьба, – подумал он, вновь садясь на лошадь, вне себя от гнева. – Мне предназначено быть посмешищем в глазах этой молодой женщины».

В продолжение всего вечера он не мог утешиться. «Я должен был бы искать с нею встречи, – подумал он, – чтобы узнать, может ли она смотреть на меня без смеха».

Вечером у госпожи де Коммерси Люсьен рассказал о своей неудаче, которая стала событием дня, и имел удовольствие выслушивать, как о ней рассказывали всякому вновь входившему гостю. К концу вечера он услышал, что кто-то произнес имя госпожи де Шастеле; он спросил у госпожи де Серпьер, почему ее никогда не видно в свете. «С ее отцом, маркизом де Понлеве, случился припадок подагры, и дочь, хотя и воспитана в Париже, считает своим долгом проводить с ним время; кроме того, мы не имеем удовольствия ей нравиться».

Дама, сидевшая рядом с госпожой де Серпьер, сказала несколько язвительных слов, к которым госпожа де Серпьер еще кое-что добавила.

«Но, – подумал Люсьен, – это же чистая зависть; или в самом деле поведение госпожи де Шастеле дает им право так отзываться о ней?» И он вспомнил то, что господин Бушар, станционный смотритель, говорил ему в день его приезда о господине де Бюзане де Сисиле, подполковнике 20-го гусарского.

На следующий день все время, пока шло учение, Люсьен не мог думать ни о чем другом, кроме своего вчерашнего несчастья. «Однако верховая езда, быть может, единственная вещь на свете, которая мне вполне удастся. Я танцую очень плохо, я далеко не блистаю в гостиных; ясно, провидение захотело посрамить меня... Черт возьми! Если я когда-нибудь встречу эту женщину, надо будет ей поклониться: мои падения познакомили нас друг с другом; если она сочтет мой поклон за дерзость, тем лучше: воспоминание о моем поклоне положит какую-то грань между настоящим моментом и картиной моих смехотворных падений».

Четыре или пять дней спустя Люсьен, идя пешком в казармы на чистку лошади, увидел в десяти шагах от себя, на повороте улицы, довольно высокого роста женщину в очень простенькой шляпке. Ему показалось, что он узнал эти волосы, редкие по красоте и цвету, словно покрытые глянцем, поразившие его три месяца назад. Это и в самом деле была госпожа де Шастеле. Он очень удивился, увидев легкую и молодую походку, свойственную парижанкам.

«Если она узнает меня, она не удержится и расхохочется мне в лицо».

Он посмотрел ей в глаза; но их простое и серьезное выражение говорило лишь о немного грустной задумчивости и было далеко от насмешки.

«Ну конечно, – подумал он, – никакой насмешки не было во взгляде, который она была вынуждена обратить на меня, проходя так близко. Она посмотрела на меня невольно, как смотрят на препятствие, на вещь, которую встречают на улице... Очень лестно! Я сыграл роль какой-нибудь телеги. В ее прекрасных глазах была даже застенчивость... Но все-таки узнала ли она во мне злополучного ездока?»

О своем намерении поклониться госпоже де Шастеле Люсьен вспомнил после того, как она прошла: ее скромный и даже робкий взор был так благороден, что, когда она поравнялась с Люсьеном, он, помимо своей воли, потупил глаза.

Три долгих часа, которые заняло в это утро учение, показались нашему герою короче, чем обычно; он непрерывно представлял себе этот вовсе не провинциальный взгляд, встретившийся с его взором. «С тех пор, что я в Нанси, у моей скучающей души только одно желание: рассеять смешное впечатление, которое составилось обо мне у этой молодой женщины... Я был бы не только скучающим человеком, но к тому же и глупцом, если бы не сумел привести в исполнение этот невинный замысел».

Вечером он удвоил свою предупредительность и внимание к госпоже де Серпьер и к пяти-шести ее близким приятельницам, собравшимся вокруг нее; он с большим воодушевлением слушал бесконечные злобные нападки на двор Людовика-Филиппа, закончившиеся язвительной критикой госпожи де Сов д'Окенкур. Этот искусный маневр позволил ему по прошествии часа подойти к маленькому столику, за которым работала мадемуазель Теодолинда. Он сообщил ей и ее подругам новые подробности своего последнего падения.

– Хуже всего, – прибавил он, – что у меня были зрители, наблюдавшие эту картину уже не в первый раз.

– Кто же именно? – спросила мадемуазель Теодолинда.

– Молодая женщина, занимающая второй этаж особняка Понлеве.

– А, госпожа де Шастеле!

– Это меня отчасти утешает: о ней говорят много дурного.

– Дело в том, что она возносит себя выше облаков; в Нанси ее не любят; впрочем, мы знаем ее только по нескольким светским визитам или, вернее, – прибавила добрая Теодолинда, – мы ее совсем не знаем. Она с большим опозданием отдает визиты. Я сказала бы, что ей свойственна какая-то беспечность и что она скучает вдали от Парижа.

– Часто, – сказала одна из юных подруг мадемуазель Теодолинды, – она велит закладывать карету, а через час или два ожидания лошадей распрягают; говорят, она чудачка, нелюбимка.

– Как досадно женщине, хоть немного чуткой, – продолжала Теодолинда, – не иметь возможности разок протанцевать с мужчиной, без того чтобы он не высказал намерения на ней жениться!

– Полная противоположность тому, что происходит с нами, бедными бесприданницами, – подхватила подруга. – Ну, конечно, она самая богатая вдова в наших краях.

Заговорили о крайне властном характере господина де Понлеве. Люсьен все ждал, что назовут имя господина де Бюзана. «Как я рассеян, – сообразил он наконец, – разве подобает юным девицам замечать подобные вещи?»

Молодой блондин пошлого вида вошел в гостиную.

– Посмотрите, – сказала Теодолинда, – вот, вероятно, человек, который больше всех надоел госпоже де Шастеле; это господин де Блансе, ее кузен, который в течение пятнадцати, если не двадцати лет любит ее; он часто и с грустью говорит об этой любви, которая удвоилась с тех пор, как госпожа де Шастеле стала очень богатой вдовой. Притязаниям господина

де Блансе покровительствует господин де Понлеве; господин де Блансе его покорный слуга, и тот три раза в неделю приглашает его обедать с дорогой кузиной.

– Однако мой отец уверяет, – заметила подруга мадемуазель Теодолинды, – что господин де Понлеве боится только одной вещи на свете: замужества дочери. Он пользуется господином де Блансе как средством удалить других претендентов; самому же господину де Блансе никогда не получить этого прекрасного состояния, управление которым сохраняет за собой господин де Понлеве; потому-то отец и не хочет, чтобы дочь возвратилась в Париж.

– Господин де Понлеве, – сказала мадемуазель Теодолинда, – несколько дней назад, когда у него кончился припадок подагры, сделал ужасную сцену дочери за то, что она не хотела расчитать своего кучера. «Я еще долго не буду выезжать по вечерам, – говорил господин де Понлеве, – и вы великолепно можете пользоваться моим кучером; к чему держать бездельника, для которого почти нет работы?» Сцена была почти такая же бурная, как та, которую он устроил дочери, когда решил поссорить ее с близкой приятельницей, госпожой де Константен.

– Это та умница, о забавных выходках которой нам третьего дня рассказывал господин де Ланфор?

– Она самая. Господин де Понлеве невероятно скуп и труслив: он опасался влияния решительного характера госпожи де Константен. Он собирается эмигрировать в случае падения Людовика-Филиппа и провозглашения республики. Он крайне нуждался во время первой эмиграции. Говорят, у него много земель, но мало наличных денег, и он очень рассчитывает на состояние дочери в том случае, если снова придется бежать за Рейн.

Этот приятный разговор между Люсьеном, Теодолиндой и ее подругой продолжался до тех пор, пока госпожа де Серпьер не сочла нужным как мать вмешаться в интимную беседу, на которую, впрочем, взирала не без удовольствия.

– О чем вы там разговариваете? – весело спросила она, подходя к ним. – Вид у вас очень оживленный.

– Мы говорили о госпоже де Шастеле, – ответила подруга мадемуазель Теодолинды.

Физиономия госпожи де Серпьер тотчас же совершенно изменилась и приняла самое суровое выражение.

– Похождения этой дамы, – сказала она, – совсем не должны быть предметом бесед молодых девушек; она привезла из Парижа взгляды на жизнь, весьма опасные для вашего будущего счастья и для вашего положения в свете. К сожалению, ее богатство и пустой блеск, которым оно ее окружает, могут ввести в заблуждение, как бы смягчая тяжесть ее проступков; вы меня очень обяжете, сударь, – сухо обратилась она к Люсьену, – если никогда не будете заговаривать с моими дочерьми о похождениях госпожи де Шастеле.

«Отвратительная женщина! – подумал Люсьен. – Мы тут развлекались, а она пришла и все испортила; стоило ли с таким терпением целый час выслушивать ее утомительные разглагольствования?»

Люсьен удалился с таким надменным и суровым видом, на какой только был способен; он вернулся домой и был весьма доволен, застав своего хозяина, славного господина Бонара, торговца зерном.

Постепенно, от скуки и меньше всего думая о любви, Люсьен стал себя вести как самый заурядный влюбленный и находил это очень забавным. В воскресенье утром он поставил одного из своих слуг на страже против входной двери особняка де Понлеве. Как только этот человек сообщил ему, что госпожа де Шастеле отправилась в маленькую местную церковь Религиозного просвещения, он поспешил туда.

Но церковь была настолько мала, лошади Люсьена, без которых он дал себе слово никогда не показываться на улице, производили столько шума на мостовой, а его мундир так бросался в глаза, что ему стало стыдно своей неделикатности.

Он не мог хорошо разглядеть госпожу де Шастеле, которая стояла в глубине довольно темного притвора. Ему показалось, что в ней много простоты. «Либо я сильно ошибаюсь, либо эта женщина очень мало думает о том, что ее окружает; к тому же ее осанка вполне соответствует самой искренней набожности».

В следующее воскресенье Люсьен отправился в ту же церковь пешком; но, несмотря на это, он чувствовал себя неловко, так как взоры молящихся то и дело устремлялись на него.

Трудно было иметь вид более изысканный, чем у госпожи де Шастеле; но Люсьен, ставший так, чтобы хорошо ее рассмотреть при выходе из церкви, заметил, что, когда она не опускала строго своих глаз, они поражали необычной красотой и помимо ее воли выдавали все ее чувства. «Эти глаза, – подумал он, – должны часто вызывать досаду у своей обладательницы; как бы она ни старалась, она не в состоянии лишить их выразительности».

В тот день в них можно было прочесть сосредоточенность и глубокую печаль. «Неужели еще до сих пор господин де Бюзан де Сисиль – причина этих грустных взоров?»

Вопрос, который он себе задал, отравил ему все удовольствие.

Глава четырнадцатая

«Я не предполагал, что гарнизонные романы связаны с такими неприятностями». Эта благоразумная, но вульгарная мысль придала немного серьезности Люсьену, и он впал в глубокую задумчивость.

«Ну что ж, легко ли это или нет, – решил он после долгого молчания, – но получить возможность дружески болтать с подобной женщиной было бы очаровательно». Однако выражение его физиономии совершенно не соответствовало слову «очаровательно».

«Я не могу не признаться самому себе, – продолжал он уже с большим хладнокровием, – что есть страшная разница между подполковником и простым корнетом и еще более ужасная – между аристократическим именем господина де Бюзана де Сисилия, сподвижника Карла Анжуйского, брата Людовика Святого, и этой мещанской фамилией Левен... С другой стороны, мои новые ливреи и английские лошади должны наполовину облагородить меня в глазах провинциалки... А может быть, – прибавил он со смехом, – и вполне облагородить...

Нет, – воскликнул он, яростно вскакивая с места, – низменные понятия не вяжутся с ее благородной внешностью... Она может разделять их только потому, что они свойственны ее касте. Они не смешны в ней, так как она усвоила их еще в шестилетнем возрасте вместе с катехизисом; это не понятия, а чувства. Провинциальная знать придает большое значение ливреям и блестящим экипажам.

Но к чему все эти ненужные тонкости? Надо признаться, что я очень смешон. Имею ли я право задумываться над интимными чертами ее характера? Я хотел бы провести несколько вечеров в салоне, где она бывает. Отец с вызовом предложил мне, чтобы я добился доступа в салоны Нанси, – я в них принят. Это было довольно трудно, но теперь настало уже для меня время чем-нибудь заняться в этих гостиных. Я умираю от скуки, а чрезмерная скука могла бы сделать меня невнимательным; этого мне никогда не простили бы здешние тщеславные дворянчики, даже лучшие из них.

Почему бы мне не стремиться иметь „цель в жизни“, как говорит мадемуазель Сильвиана, провести несколько вечеров в обществе молодой женщины? Вольно ж мне было думать о любви и осыпать себя упреками! Это времяпрепровождение не мешает мне быть человеком уважаемым и послужить отечеству, если представится случай.

К тому же, – прибавил он с меланхолической улыбкой, – эти „любезные“ разговоры скоро разочаруют меня в удовольствии, которое я предполагаю найти во встречах с нею. Чуть благороднее наружность, речь, соответствующая другому общественному положению, и это будет том второй мадемуазель Сильвианы Бершю. Она будет язвительна и набожна, как госпожа де Серпьер, или упоена своим дворянством и станет говорить мне о заслугах своих прадедов, как госпожа де Коммерси, которая, путая все даты и, что еще хуже, страшно долго рассказывала мне вчера о том, как один из ее предков, по имени Ангерран, участвовал в походе Франциска Первого против альбигойцев и стал овернским коннетаблем. Так оно и будет, но она красива; что же еще надо, чтобы скоротать час-другой? Слушая весь этот вздор, я буду в двух шагах от нее. Будет даже любопытно философски наблюдать за тем, как смешные и низкие мысли оказываются бессильны испортить такое лицо. Дело в том, что нет ничего смешнее учения Лафатера»⁴².

Однако в голове Люсьена над всем остальным восторжествовала мысль, что было бы непростительным промахом не суметь проникнуть в салоны, которые посещает госпожа де Шастеле, или в ее собственную гостиную, если она нигде не бывает. «Это потребует кое-каких

⁴² *Иоганн Каспар Лафатер* (1741–1801) – швейцарский писатель, богослов и поэт. Заложил основы криминальной антропологии, создав науку физиогномики.

хлопот и будет то же, что взятие штурмом гостиных Нанси». Все эти философские рассуждения заставили отступить роковое слово «любовь», и Люсьен больше ни в чем не упрекал себя.

Он так часто издевался над жалким положением одного из своих кузенов, Эдгара! «Ставить свое собственное достоинство в зависимость от мнения женщины, которая себя уважает потому, что ее прадед, находясь в свите Франциска Первого, убивал альбигойцев! Это уже верх нелепости. В таком столкновении интересов мужчина более смешон, чем женщина».

Несмотря на все эти прекрасные рассуждения, господин де Бюзан де Сисиль занимал воображение нашего героя по меньшей мере столько же, сколько и госпожа де Шастеле. Он проявлял чудеса хитрости, окольными путями наводя разговор на тему о господине де Бюзане и оказанном ему приеме. Господин Готье, господин Бонар, их друзья и все второразрядное общество, как всегда склонное к преувеличениям, ничего не знали о господине де Бюзане, кроме того, что он принадлежал к высшей знати и был любовником госпожи де Шастеле. В гостиных госпожи де Коммерси и госпожи де Пюи-Лоранс были далеки от того, чтобы с такой определенностью говорить о подобных вещах. Когда Люсьен задавал вопрос о господине де Бюзане, казалось, все вспоминали, что он, Люсьен, из вражеского стана, и ни разу ему не удалось добиться ясного ответа. Он не мог толковать об этом со своей приятельницей, мадемуазель Теодолиндой; а между тем она была единственным существом, которое, по-видимому, не хотело обманывать его. Люсьен так и не узнал истины о господине де Бюзане. В действительности же это был добряк и храбрец, но человек весьма недалекий. По приезде в Нанси, введенный в заблуждение оказанным ему приемом, забыв о своей солидной комплекции, невыразительном взгляде и сорока годах, он влюбился в госпожу де Шастеле. Он постоянно надоедал ее отцу и ей своими посещениями, и госпоже де Шастеле никак не удавалось сделать эти визиты более редкими. Ее отец, господин де Понлеве, поставил себе целью поддерживать хорошие отношения со всеми военными в Нанси. Если откроется его довольно невинная переписка с Карлом X, кому будет приказано арестовать его? Кто поможет ему бежать? И если вдруг придет известие, что в Париже провозглашена республика, кто защитит его от здешней черни?

Но бедный Люсьен был далек от того, чтобы проникнуть во все это. Дю Пуарье всегда с удивительным искусством увертывался от его вопросов.

В высшем обществе ему без конца повторяли: «Этот штаб-офицер – потомок одного из ближайших соратников герцога Анжуйского, брата Людовика Святого, которому он помог завоевать Сицилию».

Немного больше он узнал от господина д'Антиена, сказавшего ему однажды: «Вы очень хорошо сделали, сняв его квартиру; это одна из самых сносных в городе. Бедняга Бюзан был очень храбр, совершенно лишен воображения, но обладал превосходными манерами; он часто устраивал дамам очень милые завтраки в Бюрельвильерском лесу или в „Зеленом охотнике“, в четверти лье отсюда; и почти всякий день с наступлением полуночи он чувствовал себя веселым, так как был немного пьян».

Все время изыскивая способы встретиться в какой-нибудь гостиной с госпожой де Шастеле, Люсьен утратил желание блистать в глазах обитателей Нанси, которых он начал презирать, быть может, больше, чем следовало; теперь основным стимулом его поступков было желание занять мысли, если не душу этой красивой куклы. «У этого существа, должно быть, странные взгляды на жизнь! – думал он. – Молодая провинциалка, ультрароялистка, попавшая из монастыря Сердца Иисусова ко двору Карла Десятого и изгнанная из Парижа в июльские дни 1830 года». Такова и в самом деле была история госпожи де Шастеле.

В 1814 году, после первой Реставрации, маркиз де Понлеве пришел в отчаяние оттого, что он живет в Нанси и не находится при дворе.

«Я вижу, – говорил он, – как снова восстановилась черта, отделяющая нас от придворной знати. Мой кузен, носящий то же имя, что и я, так как он придворный, двадцати двух

лет получит чин полковника и будет командовать полком, где я дай бог, чтоб дослужился до капитана в сорок».

В этом заключалась главная печаль господина де Понлеве, и он ни от кого этого не скрывал. Вскоре его посетило еще и второе горе. В 1816 году он выставил свою кандидатуру в палату депутатов и получил шесть голосов, считая свой собственный. Он уехал в Париж, заявив, что после такой обиды навсегда покидает провинцию, и взял с собою дочь, пяти- или шестилетнюю девочку. Чтобы приобрести в Париже какое-нибудь положение, он стал домогаться перства. Господин де Пюи-Лоранс, бывший тогда в силе при дворе, посоветовал ему отдать дочь на воспитание в монастырь Сердца Иисусова; господин де Понлеве последовал этому совету и почувствовал всю его важность. Он ударился в страшную набожность и достиг того, что в 1828 году выдал свою дочь замуж за генерал-майора, состоявшего при дворе Карла X. Брак этот находили очень выгодным. Господин де Шастеле имел состояние. Он казался старше своих лет, так как был совершенно лыс, но сохранил удивительную живость; манеры у него были изысканны до слащавости. Его придворные враги применяли к нему стих Буало о романах его времени:

И «ненавижу вас» в них нежностью звучит.

Госпожа де Шастеле, должным образом направляемая мужем, великим поклонником мелких интриг, имеющих такое значение при дворе, была хорошо принята принцессой и вскоре заняла отличное положение; она пользовалась дворцовыми ложами в театре «Буфф» и Опере, а летом – двумя квартирами: одной в Медоне, другой в Рамбулье. Она, к счастью, не читала газет и никогда не занималась политикой. Соприкасалась она с нею только на открытых заседаниях Французской академии, на которых присутствовала по настоянию мужа, претендовавшего на кресло; он был большим поклонником стихов Милльвуа и прозы господина де Фонтана⁴³.

Ружейные выстрелы в июле 1830 года нарушили эти невинные замыслы.

Увидев *чернь на улице* (это было его выражение), он вспомнил об убийстве господина Фулона и господина Бертье⁴⁴ в первые дни революции, решил, что поблизости от Рейна жить всего спокойнее, и укрылся в одном из имений жены, около Нанси.

Господин де Шастеле, человек, быть может, немного напыщенный, но очень любезный и в обычное время даже занимательный, никогда не блистал умом; он никак не мог утешиться после третьего по счету бегства обожаемой им королевской фамилии. «Я вижу в этом перст божий», – говаривал он со слезами на глазах в гостиных Нанси; вскоре он умер, оставив жене двадцать пять тысяч ливров ежегодного дохода в государственных бумагах. Состояние это ему помог нажить король во время займов 1817 года, и в гостиных Нанси завистники бесцеремонно раздували его до миллиона восьмисот тысяч и даже до двух миллионов франков.

Люсьену стоило огромного труда собрать эти простые сведения. Что же касается поведения госпожи де Шастеле, то ненависть, которой ее удостаивали в салоне госпожи де Серпьер, и здравый смысл мадемуазель Теодолинды помогли Люсьену раскрыть истину.

Через полтора года после смерти мужа госпожа де Шастеле осмелилась произнести слова: «Возвращение в Париж».

«Как, дочь моя, – воскликнул господин де Понлеве, тоном и жестиком уподобившись «негодующему» Альцесту в известной комедии, – наши монархи в Праге, а вас увидят в Париже! Что сказала бы тень господина де Шастеле? Ах, если мы покинем свои пенаты, не в

⁴³ Шарль Юбер Милльвуа (1782–1816) – французский поэт. Луи де Фонтан (1757–1821) – французский писатель и политический деятель.

⁴⁴ Жозеф Франсуа Фулон (1717–1789) – политический деятель и финансист. После революции был повешен на фонаре. Той же казни подвергся и его зять Бертье.

ту сторону надо будет повернуть лошадей! Ухаживайте за вашим старым отцом в Нанси, или, если мы еще сумеем тронуться с места, поспешим в Прагу» и т. д.

Господин де Понлеве говорил, как краснобаи времен Людовика XVI, долго и витиевато, что считалось тогда признаком ума.

Госпоже де Шастеле пришлось отказаться от мысли вернуться в Париж. При одном слове «Париж» отец злобно набрасывался на нее и устраивал ей сцены. Но зато она имела великолепных лошадей, красивую коляску и изящно наряженных слуг. Все это реже показывалось в Нанси, чем на соседних больших дорогах. Госпожа де Шастеле так часто, как только могла, навещала свою подругу по монастырю, госпожу де Константен, жившую в маленьком городке, в нескольких лье от Нанси, но господин де Понлеве был очень ревнив в этом отношении и делал все, чтобы их посорить.

Два или три раза во время своих больших прогулок Люсьен встречал экипаж госпожи де Шастеле в нескольких лье от Нанси.

После одной такой встречи, около полуночи, Люсьен отправился на улицу Помп выкурить несколько сигарет из лакричной бумаги. Прогуливаясь, он с удовольствием думал о том, что блестящие мундиры пользуются благосклонностью госпожи де Шастеле. Он старался возложить некоторые надежды на элегантность своих лошадей и слуг. Он противопоставлял эти надежды своему мещанскому имени, но, говоря себе все это, думал о другом. Он не заметил, что приблизительно за две недели, которые прошли с того дня, как он увидел ее во время мессы, госпожа де Шастеле, все-таки оставшаяся для него существом в некотором роде идеальным, изменила свое отношение к нему.

После того как ему, по его настоянию, рассказали ее историю, он решил: «Эту молодую женщину притесняет отец, ее должно оскорблять его тяготение к богатству, ей надоела провинция; вполне естественно, что она ищет развлечения в легкой любовной интриге». Но ее открытое и целомудренное лицо тотчас же вызвало в нем сомнение, способна ли она на такую интригу.

«Но, черт возьми, – решил Люсьен в тот вечер, о котором мы говорим, – я настоящий дурак! Меня должна была бы радовать ее слабость к мундиру!»

Чем больше задерживался он на этом обнадеживающем обстоятельстве, тем мрачнее становился.

«Неужели я буду настолько глуп, что влюблюсь?» – произнес он наконец вполголоса и, словно громом пораженный, остановился посреди улицы. К счастью, в полночь там не было никого, кто мог бы видеть его лицо и посмеяться над ним.

Мысль о том, что он влюблен, наполнила его стыдом: он пал в собственных глазах. «Я, значит, могу стать таким, как Эдгар, – подумал он. – У меня, должно быть, мелкая и слабая душонка! Воспитание могло некоторое время служить ей опорой, но в случаях исключительных и в неожиданных положениях проявляется ее подлинная сущность. Как! В то время как вся французская молодежь волнуется высокими страстями, я, наподобие смешных героев Корнеля, проведу всю свою жизнь, любуясь парой красивых глаз? Вот он, печальный результат моего осмотрительного и благоразумного поведения в Нанси!

Кто отстает от поколения,
Тот счастью скажи „прости“.

Уж лучше бы я вывез из Меца маленькую танцовщицу, как собирался! Или, по крайней мере, стал бы серьезно ухаживать за госпожой де Пюи-Лоранс или госпожой д'Окенкур. С этими дамами я не боялся бы выйти за пределы светской интриги.

Если так будет продолжаться, я скоро превращусь в глупца и пошляка. Это уже не сенсизм, в котором обвинил меня отец. Кто теперь занимается женщинами? Люди, вроде гер-

цога де ***, друга моей матери, который на закате достойной уважения жизни, выполнив свой долг на поле брани и в палате пэров, где он отказался подать свой голос, развлекается тем, что устраивает карьеру маленькой танцовщицы, как другие забавляются с чижиком.

Но я! В мои годы! Кто из молодых людей решится хотя бы говорить о серьезной привязанности к женщине? Если это забава – хорошо; но если это серьезная привязанность – мне нет извинения; и доказательством того, что я отношусь ко всему этому серьезно, что глупость эта не простая забава, является открытие, которое я сейчас сделал: равнодушие госпожи де Шастеле к блестящим мундирам, вместо того чтобы нравиться мне, огорчает меня. У меня есть обязанности по отношению к родине. До сих пор я уважал себя главным образом за то, что не был эгоистом, занятым единственно тем, чтобы в полной мере наслаждаться доставшимися ему случайно благами; я уважал себя за то, что долг перед родиной и уважение достойных людей были для меня выше всего. В моем возрасте нужно действовать; с минуты на минуту может прозвучать голос родины; я буду призван; мне надлежало бы напрячь все силы своего разума, чтобы установить, в чем заключаются подлинные интересы Франции, – вопрос, который негодяи стремятся всячески запутать. Одной головы, одной души недостаточно, чтобы разобраться в этих сложных обязанностях; и такой-то момент я избрал для того, чтобы стать рабом провинциалочки, ультрароялистки! Черт бы ее побрал вместе с ее улицей!» Люсьен поспешно вернулся домой, но чувство глубокого стыда не дало ему заснуть.

Утро застало его прогуливающимся около казармы; он с нетерпением ждал переключки. По окончании переключки он проводил немного двух своих товарищей; в первый раз их общество было ему приятно.

«Как бы я ни старался, – подумал он, оставшись наконец один, – я не могу сравнивать эти глаза, такие пронизывающие, но такие целомудренные, с глазами оперной танцовщицы, хотя бы и не менее прелестной». В течение целого дня он не мог прийти ни к какому решению относительно госпожи де Шастеле. Что бы он ни делал, он не мог видеть в ней неприменную любовницу всех подполковников, которых судьба могла забросить в Нанси. «Однако, – подсказывал ему рассудок, – она должна очень скучать. Отец не позволяет ей поехать в Париж; он хочет поссорить ее с близкой подругой; легкая любовная интрига – единственное утешение для бедняжки».

Это вполне разумное извинение только усугубило печаль нашего героя. В сущности, он понимал, в каком смешном положении он находился: он любил и, несомненно, желал взаимности, он чувствовал себя несчастным и готов был ненавидеть свою возлюбленную именно за легкость, с какою можно было покорить ее.

Этот день был для него ужасным; казалось, все сговорились напоминать ему о господине Тома де Бюзане и о приятной жизни, которую он вел в Нанси. Ее сравнивали с образом жизни подполковника Филото и трех командиров эскадрона, проводивших все время в кабаках и кафе.

Сведения сыпались отовсюду, так как имя госпожи де Шастеле было у всех на устах в связи с господином Бюзаном, однако сердце Люсьена упорно твердило ему, что она ангел непорочности.

Он не находил уже никакого удовольствия в том, чтобы вызывать восхищение на улицах Нанси элегантными ливреями своих лакеев, прекрасными лошадьми и коляской, которая, проезжая, сотрясала все деревянные дома. Он почти презирал себя за то, что раньше его забавляли эти глупости; он забывал, что они исцелили его от невыносимой скуки.

Все последующие дни Люсьен находился в крайнем возбуждении. Он не был уже тем легкомысленным существом, которое могла развлечь любая безделица. Иногда он от всего сердца презирал себя, но, несмотря на угрызения совести, не мог удержаться, чтобы не побывать несколько раз в день на улице Помп.

Через неделю после того, как Люсьен сделал в своем сердце столь унижительное открытие, он застал у госпожи де Коммерси госпожу де Шастеле, явившуюся к ней с визитом; он не мог произнести ни слова, то бледнел, то краснел, и хотя в гостиной он был единственным мужчиной, не сообразил предложить руку госпоже де Шастеле, чтобы проводить ее до кареты. Он вышел от госпожи де Коммерси, презирая себя больше, чем когда бы то ни было.

Этот республиканец, человек действия, любивший верховую езду за то, что она была подготовкой к сражению, всегда представлял себе любовь опасной и презренной бездной и был уверен, что никогда в нее не упадет. Кроме того, он считал эту страсть крайне редкой всюду, за исключением театральных подмостков. Он был удивлен всем, что с ним случилось, как дикая птица, которую поймали в сеть и посадили в клетку; подобно этой испуганной пленнице, он только яростно бился головой о прутья своей клетки. «Как, – возмущался он, – не сумею выговорить ни слова! Забыть даже о простейших правилах приличия! Так моя слабая совесть поддается соблазну греха, и у меня не хватает даже смелости совершить его!»

На следующий день Люсьен не был занят по службе; он воспользовался разрешением полковника и уехал далеко вглубь Бюрельвильерского леса. Под вечер какой-то крестьянин сказал ему, что он находится в семи лье от Нанси.

«Надо сознаться, что я глупее, чем думал. Разве, разъезжая по лесу, я добьюсь расположения гостиных Нанси и найду случай встретиться с госпожой де Шастеле и исправить мою оплошность?» Он поспешил вернуться в город и отправился к Серпьерам. Мадемуазель Теодолинда была его другом, а он, считавший себя таким сильным, нуждался в тот день в дружеской поддержке. Он был далек от того, чтобы заговорить с мадемуазель Теодолиндой о своей слабости, но возле нее его сердце обретало некоторый покой. Господин Готье имел все права на уважение, но он был жрецом республики, и все, что не вело к счастью свободной и независимой Франции, казалось ему недостойным внимания ребячеством. Господин Дю Пуарье был замечательным советчиком; помимо своего знания людей и событий Нанси, он раз в неделю обедал с особой, которою так интересовался Люсьен. Но Люсьен всячески остерегался дать ему повод к предательству.

Когда Люсьен рассказывал мадемуазель Теодолинде о том, что он видел во время своей далекой прогулки, доложили о приходе госпожи де Шастеле. В одно мгновение у Люсьена точно отнялись руки и ноги; тщетно пытался он говорить; немногие слова, которые он произнес, были почти невнятные.

Он был бы не менее поражен, если бы, отправляясь с полком в бой, вместо того чтобы скакать вперед на врага, он обратился бы в бегство. Эта мысль повергла его в сильнейшее смущение. Значит, он ни в чем не может положиться на себя! Какой урок скромности! Как много надо работать над собой, чтобы получить в конце концов уверенность в самом себе, построенную не на предположениях, а на фактах!

Люсьен был выведен из глубокой задумчивости удивительным событием: госпожа де Серпьер представляла его госпоже де Шастеле, сопровождая эту церемонию безудержными похвалами. Люсьен покраснел, как рак, и тщетно пытался найти хоть одно учтивое слово, в то время как превозносили его тонкое парижское остроумие и замечательную находчивость. Наконец госпожа де Серпьер сама заметила его состояние.

Госпожа де Шастеле воспользовалась каким-то предлогом, чтобы по возможности сократить свой визит. Когда она поднялась, Люсьен очень хотел предложить ей руку и проводить ее до кареты, но был охвачен таким приступом дрожи, что благоразумно решил не расставаться со своим стулом. Он испугался скандала. Госпожа де Шастеле могла бы сказать: «Это я, сударь, должна подать вам руку».

Глава пятнадцатая

– Я не предполагала, что вы так чувствительны к насмешкам, – сказала ему мадемуазель Теодолинда после ухода госпожи де Шастеле. – Неужели ее присутствие потому смутило вас, что вы предстали перед ней в том далеко не блистательном положении, в каком очутился святой Павел, когда ему раскрылось третье небо?

Люсьен не возражал против такого толкования: он боялся, что выдаст себя при малейшей попытке спорить, и как только счел, что его уход не покажется странным, поспешил домой.

Когда он очутился один, его немного утешила смехотворность всего, что с ним случилось. «Не болен ли я какой-нибудь страшной болезнью? – задал он себе вопрос. – Раз физическое действие настолько сильно, значит я не так уж достоин порицания. Если бы я сломал себе ногу, я ведь не мог бы выступить со своим полком».

Серпьеры давали обед, очень простой, так как они были небогаты; однако благодаря аристократическим предрассудкам, которые особенно живучи в провинции и одни только могли способствовать замужеству шести дочерей старого королевского наместника, получить приглашение в этот дом на обед было немалой честью. Поэтому госпожа де Серпьер долго колебалась, прежде чем пригласить Люсьена; имя его было совсем мещанское, но, как обычно бывает в девятнадцатом веке, расчет одержал верх: Люсьен был молодой холостяк.

Милая и простодушная Теодолинда отнюдь не одобряла всей этой политики, но была вынуждена подчиниться. Белые билетки, лежавшие на салфетках, указывали, что места Люсьена и ее находятся рядом. Старый королевский наместник сделал надпись на карточке: «Шевалье Левен», Теодолинда поняла, что это неожиданное возведение в дворянство оскорбит Люсьена.

Пригласили также госпожу де Шастеле, так как она не могла быть на обеде, данном два месяца назад, когда у господина де Понлеве разыгралась подагра. Теодолинда, стыдившаяся высокой политики своей матери, перед самым приездом гостей с большим трудом добилась того, чтобы место госпожи де Шастеле было справа от шевалье Левена, а ее собственное – слева.

Когда Люсьен явился, госпожа де Серпьер отвела его в сторону и сказала со всею двуличностью матери шести незамужних дочерей:

– Я посадила вас рядом с прелестнейшей госпожой де Шастеле; это лучшая партия в округе, и говорят, что она не питает отвращения к военным мундирам; таким образом, вы будете иметь случай упрочить знакомство, завязанное благодаря мне.

За обедом Теодолинда нашла, что Люсьен довольно скупен; говорил он мало и, правду сказать, так неинтересно, что лучше бы молчал совсем.

Госпожа де Шастеле завела с нашим героем речь о том, что составляло тогда предмет всех разговоров в Нанси. Госпожа Гранде, жена главного податного инспектора, на днях должна приехать из Парижа и, несомненно, будет давать великолепные празднества. Муж ее был очень богат, а она считалась одной из самых красивых женщин Парижа. Люсьен вспомнил, что ему приписывали родство с Робеспьером, и у него хватило смелости сказать, что он часто видел госпожу Гранде у своей матери, госпожи Левен. Наш корнет очень скудно поддерживал эту беседу; он хотел говорить с воодушевлением, но так как не находил никаких предметов для разговора, то ограничивался тем, что обращался к госпоже де Шастеле с сухими вопросами.

После обеда было решено совершить небольшую прогулку, и Люсьену выпала честь сопровождать мадемуазель Теодолинду и госпожу де Шастеле в поездке по пруду, носящему громкое название Командорского озера. Он вызвался управлять лодкой и, хотя пять или шесть раз прекрасно катал девиц Серпьер, теперь чуть не опрокинул в воду, на четырехфутовую глубину, мадемуазель Теодолинду и госпожу де Шастеле.

Через день было тезоименитство одной августейшей особы, проживавшей вне Франции.

Маркиза де Марсильи, вдова кавалера ордена Почетного легиона, сочла своим долгом дать бал; но повод к празднеству не был указан в пригласительных билетах; это показалось предосудительной трусостью семи-восьми дамам, еще более легитимистски настроенным, и по этой причине они не удостоили бал своим присутствием.

Из всего 27-го уланского полка получили приглашение только полковник, Люсьен и маленький Рикбур. Но в гостиных маркизы дух касты заставил позабыть о простых правилах приличия людей, обычно вежливых до утомительности. С полковником Малером де Сен-Мегреном обращались как с втирушей, чуть ли не как с жандармом, с Люсьеном – как с баловнем дома; к красивому корнету относились с явным пристрастием.

Когда общество собралось, перешли в танцевальный зал. В середине сада, посаженного некогда королем Станиславом, тестем Людовика XV, и представлявшего собою, согласно вкусу того времени, лабиринт из буковых аллей, возвышалась беседка, очень изящная, но сильно запущенная после смерти друга Карла XII. Чтобы скрыть следы разрушения, причиненного временем, беседку превратили в замечательный шатер. Комендант крепости, очень раздосадованный тем, что не может явиться на бал и отпраздновать тезоименитство августейшей особы, выдал из гарнизонных цейхгаузов две большие палатки, которые называются *маркизами*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.